

Юрий Трифонов

ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ



Annotation

Ю. Трифонов был писателем, во многом сформировавшим духовный облик мыслящего поколения 70—80-х годов. Повесть «Дом на набережной» в представлении не нуждается. Это одно из самых известных в России и за ее пределами произведений писателя.

- [Юрий Трифонов](#)

○

Юрий Трифонов

ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Никого из этих мальчиков нет теперь на белом свете. Кто погиб на войне, кто умер от болезни, иные пропали безвестно. А некоторые, хотя и живут, превратились в других людей. И если бы эти другие люди встретили бы каким-нибудь колдовским образом тех, исчезнувших, в бумазейных рубашонках, в полотняных туфлях на резиновом ходу, они не знали бы, о чем с ними говорить. Боюсь, не догадались бы даже, что встретили самих себя. Ну и бог с ними, с недогадливыми! Им некогда, они летят, плывут, несутся в потоке, загребают руками, все дальше и дальше, все скорей и скорей, день за днем, год за годом, меняются берега, отступают горы, реденут и облетают леса, темнеет небо, надвигается холод, надо спешить, спешить — и нет сил оглянуться назад, на то, что остановилось: и замерло, как облако на краю небосклона.

В один из нестерпимо жарких августовских дней 1972 года — Москва тем летом задыхалась от зноя и дымной мглы, а Глебову приходилось, как назло, проводить много дней в городе, потому что ждали вселения в кооперативный дом — Глебов заехал в мебельный магазин в новом районе, у черта на рогах, возле Коптевского рынка, и там случилась странная история. Он встретил приятеля допотопных времен. И забыл, как его зовут. Вообще-то он приехал туда за столом. Сказали, что можно взять стол, пока еще неизвестно где, сие есть тайна, но указали концы — антикварный, с медальонами, как раз к стульям красного дерева, купленным Мариной год назад для новой квартиры. Сказали, что в мебельном возле Коптевского рынка работает некий Ефим, который знает, где стол. Глебов подъехал после обеда, в неистовый солнцепек, поставил машину в тень и направился к магазину. На тротуаре перед входом, где в клочьях мусора и упаковочной бумаги стояли только что сгруженные или

ожидающие погрузки шкафы, кушетки, всякая другая полированная дребедень, где с унылым видом слонялись покупатели, шоферы такси и неряшливо одетые мужики, готовые за тройк на все, Глебов спросил, как найти Ефима. Ответили: на заднем дворе. Глебов прошел через магазин, где от духоты и спиртового запаха лака нечем было дышать, и вышел узкою дверью на двор, совершенно пустынный.

Какой-то работяга дремал в тенечке у стены, сидя на корточках. Глебов к нему: «Вы не Ефим?»

Работяга поднял мутный взгляд, посмотрел сурово и чуть выдавил презрительную ямку на подбородке, что должно было означать: нет. По этой выдавленной ямке и по чему-то еще неуловимому Глебов вдруг догадался, что этот помертвелый от жары и жажды похмельится, несчастный мебельный «подносила» — дружок давних лет. Понял не глазами, а чем-то другим, каким-то стуком внутри. Но ужасно было вот что: хорошо зная, кто это, начисто забыл имя! Поэтому стоял молча, покачиваясь в своих скрипучих сандалетах, и смотрел на работягу, вспоминая изо всех сил. Целая жизнь налетела внезапно.

Но имя? Такое хитроватое, забавное. И в то же время детское. Единственное в своем роде. Безмянный друг опять налаживался дремать: кепочку натянул на нос, голову закинул и рот отвалил.

Глебов, волнуясь, отошел в сторону, потыкался туда-сюда, ища Ефима, потом вошел через заднюю дверь в помещение магазина, поспрошал там, Ефима след простыл, советовали ждать, но ждать было невозможно, и, ругаясь мысленно, проклиная необязательных людей, Глебов вновь вышел во двор, на солнцепек, где его так изумил и озадачил Шулепа. Ну конечно: Шулепа! Левка Шулепников! Что-то когда-то слышал о том, что Шулепа пропал, докатился до дна, но чтобы уж досюда? До мебельного? Хотел поговорить с ним дружелюбно, товарищески, спросить, как да что, и заодно про Ефима.

— Лев... — сказал Глебов не очень уверенно, подходя к мужику, который сидел там же в тени и в той же позе, на

корточках, но теперь уже не дремал, а наблюдал за каким-то движением в глубине двора, мусоля губами папироску.

Более громко и смело добавил: — Шулепа!

Человек опять посмотрел на Глебова мутно и отвернулся. Конечно, это был сивыми запьянцовскими усами, непохожий на себя, но в чем-то, кажется, оставшийся непоколебленным, такой же нагловатый и глупо заносчивый, как прежде. Дать ему денег, что ли, на опохмелку? Глебов пошевелил пальцами в кармане брюк, нащупывая деньги. Рубля четыре мог дать безболезненно. Если бы тот попросил. Но мужик не обращал на Глебова никакого внимания, и Глебов растерялся и подумал, что, может, он ошибся и этот тип вовсе не Шулепников.

Но в ту же секунду, рассердясь, спросил довольно грубо и панибратски, как привык разговаривать с обслуживающим персоналом: — Да ты меня не узнаешь, что ли? Левк!

Шулепников выплюнул окурочек и, не посмотрев на Глебова, встал и пошел вразвалочку в глубь двора, где начиналась разгрузка контейнера. Глебов, неприятно пораженный, побрел на улицу. Поразило не обличье Левки Шулепы и не жалкость его нынешнего состояния, а то, что Левка *не захотел узнавать*. Уж кому-кому, а Левке нечего было обижаться на Глебова. Не Глебов виноват и не люди, а времена. Вот пусть с временами и *не здороваются*. Опять внезапно: совсем раннее, нищее и глупое, дом на набережной, снежные дворы, электрические фонари на проволоках, драки в сугробах у кирпичной стены.

Шулепа состоял из слоев, распадался пластами, и каждый пласт был непохож на другой, но вот то-в снегу, в сугробах у кирпичной стены, когда дрались до кровянки, до хрипа «сдаюсь», потом в теплом громадном доме пили, блаженствуя, чай из тоненьких чашечек, — тогда, наверно, было настоящее.

Хотя кто его знает. В разные времена настоящее выглядит по-разному.

Если честно, Глебов ненавидел те времена, потому что они были его детством.

И вечером, рассказывая Марине, он волновался и нервничал не оттого, что встретил приятеля, который не захотел его узнавать, а оттого, что приходится иметь дело с такими безответственными людьми, как Ефим, которые наобещают с три короба, а потом забудут или наплюют, и антикварный стол с медальонами уплывает в чужие руки. Ночевать поехали на дачу. Там царила тревога, тещь и теща не спали, несмотря на поздний час: оказывается, Маргоша с утра уехала на мотоцикле с Толмачевым, не звонила весь день и только в девятом часу какого-то художника. Просила не беспокоиться, Толмачев привезет ее не позже двенадцати. Глебов пришел в ярость: «На мотоцикле? Ночью? Почему вы не сказали идиотке, чтоб не сходила с ума, чтоб сию минуту, немедленно?..» Тещь и теща, как два комических старика из пьесы, бубнили что-то нелепое и не к месту.

— Я в аккурат поливал, Вадим Лексаныч, а воду перекрыли... Так что поставить вопрос на правлении...

Глебов махнул рукой и пошел в кабинет, на второй этаж. Духота не спадала и поздним вечером. Лиственной теплой сушью несло из темного сада.

Глебов принял лекарство и прилег одетый на тахту, думая о том, что сегодня надо бы наконец, если все будет благополучно и дочка вернется живая, поговорить с нею о Толмачеве. Раскрыть глаза на это ничтожество. В половине первого раздался мотоциклетный треск, затем зашумели голоса внизу. Глебов с облегчением услышал высокий тарахтящий голосок дочери. Он тут же и чудесным образом успокоился, желание говорить с дочерью исчезло, и он стал стелить себе постель на тахте, зная, что жена станет теперь до глубокой ночи болтать с Маргошей.

Но те вбежали обе как-то бурно и бесцеремонно в кабинет, когда свет еще не был погашен и Глебов стоял в белых трикотажных трусах, одной ногой на коврике перед

тахтой, другую поставив на тахту, и маленькими ножницами стриг на ноге ногти.

У жены было бескровное лицо, и она сказала жалобно: — Ты знаешь, она выходит замуж за Толмачева.

— Что ты говоришь! — Глебов как-бы испугался, хотя на самом деле не испугался, но уж очень несчастен был вид Марины. — Когда же?

— Через двенадцать дней, когда он вернется из командировки, — произнесла Маргоша скороговоркой, подчеркивая быстротой говорения категоричность и неотвратимость того, что должно произойти. При этом она улыбалась, ее маленькое с немного опухшими щечками детское личико, носик, очки, черные пуговичные мамини глазки — все это сияло, блестело, было слепо и счастливо.

Маргоша бросилась к отцу и поцеловала его. Глебов почувствовал запах вина.

Он поспешно залез под простыню. Было неприятно, что взрослая дочь видела его в трусах, и еще более неприятно оттого, что та не была этим смущена и даже сейчас *ничего не видела*. Поразительный инфантилизм во всем. И эта дурочка хотела начинать самостоятельную жизнь с мужчиной. Точнее говоря, со шпаной.

Глебов спросил: — Из какой же командировки? Разве Толмачев где-то работает?

— Конечно, работает. В— книжном магазине продавцом.

— В книжном магазине? Продавцом? — Глебов от удивления выбросил обе руки из-под простыни. Тут было что-то новое, какой-то подвох. — А почему я об этом впервые слышу? Ты уверяла, что он художник, показывала картинки, какие-то подсвечники, утюги...

— Нет, она говорила, где он работает. Говорила, говорила, — подтвердила Марина, любившая справедливость. — Но дело не в этом...

— Мамочка, как я вас всех люблю! — воскликнула Маргоша, целуя мать, и засмеялась. — Папа, ты сегодня

бледный! Как ты себя чувствуешь?

— А где жених в данную минуту?

— Папочка, я тебя прошу, ни о чем не думай, не расстраивайся!

— Маргоша, ответь мне: где вы собираетесь жить?

Продавцом в магазине. Ничего более несуразного быть не могло. Давно он не видел таких отрешенных, счастливых глаз, не слышал такого бессмысленного смеха. Маргоша, смеясь, говорила: — Разве это так важно?

— Но мы с отцом хотим знать...

— Ах, вы хотите знать? Вас разбирает любопытство? — Опять смех. — Ну, если, скажем, здесь... Это плохо? Вы не согласны?

— Будешь ездить автобусом? Вставать в ПЯТА утра?

— Мама, все это мелочь и ерунда...

Вдруг обе исчезли. Глебов прислушивался к летающим женским голосам внизу, к ним прибавился глухой говор тестя и тещи. Сердце Глебова ныло от предчувствия перемен, и он решил принять снотворное, чтобы поскорее заснуть.

Вдруг пришла легкая мысль: «А может, ничего страшного не случится? Пусть все идет своим ходом. Как всегда. Ну, разойдутся через год, ну и бог с ними». И он стал думать о другом.

Около часа ночи раздался телефонный звонок. Глебов почувствовал сквозь полусон, как его охватил гнев, сердцебиение усилилось, и он проворно, стоявшему на столе: успеть сорвать трубку прежде, чем схватит трубку нижнего телефона Маргошка, и дать нахалу взбучку! Был уверен, что звонит Толмачев.

Но голос был незнакомый, какой-то расхлябанный, хулиганский.

— Здравствуй, Дуня, новый год... Не узнаешь? А? — хрипел хулиган. — То узнает, то не узнает. Вот задница. А

который час-то? Ну, второй, подумаешь, детские времена. Интеллигенция об эту пору еще не ложится... Решает вопросы... Мы тут с одним мужиком сидим... А помнишь, какие у меня были финские ножички?

— Помню, — сказал Глебов и действительно вспомнил: ножичков было штук пять, все разного размера. Самый маленький был с папироску. Левка приносил их в школу и хвастался. И еще сверкающий стальной пистолет с костяной ручкой, как настоящий.

В кабинет вошла Марина, спросила испуганным взглядом: «Кто?» Глебов подмигивал, махал рукой: пустое, мол, чепуха. Почему-то обрадовался тому, что Шулепников позвонил.

— Ладно, будь, спи спокойно, дорогой товарищ... Извини, что потревожил... Я твой телефон три часа выбивал через справочную. Слышь? Ты когда подошел сегодня, я тебя узнавать не хотел. На хрена, думаю, он мне нужен? Противен ты мне был ужасно. Нет, ты понял, Вадька, ей-богу! Точно говорю: ужасно противен.

— За что ж так? — спросил Глебов, зевая.

— Да хрен меня знает. Ничего ты мне плохого вроде не сделал. Ну, ты там доктор, директор, пятое-десятое, дерьма пирога, мне это все неинтересно. Не волнует. Я по другому ведомству. А потом пришел с работы, занялся тут своими делами и соображаю: зачем же я Вадьку Глебыча обидел? Может, он за каким барахлом приехал, чего нужно? А в другой раз придет— меня и нет... Меня тут в одну страну заряжают года на три...

«О господи! — подумал Глебов. — Ведь до самой смерти...» — Лев, позвони мне завтра, пожалуйста.

— Нет, завтра не стану. Только сегодня. Ты что, министр? Завтра звонить! Ишь ты, какая цаца. Никаких завтра. Да ты с ума сошел, Глебов, как ты со мной разговариваешь! Как у тебя язык повернулся? Я три часа твой телефон вышибал, вот мы вдвоем с мужиком...

Он из дипкорпуса, отличный мужик... Через мидовскую справочную...

Вадька, а ты мою мамашу помнишь?

Глебов сказал, что помнит, и хотел добавить, что помнит и Левкиного отца, вернее, отчима. Вернее, двух его отчимов. Но трубка звякнула, и раздались короткие гудки.

Марина глядела все еще испуганно.

— Да вздор какой-то. Это тот парень, кого я в мебельном сегодня... — Глебов стоял босой возле письменного стола и в задумчивости рассматривал телефонный аппарат, — Все-таки обормот... Действительно, зачем звонил?

Почти четверть века назад, когда Вадим Александрович Глебов еще не был лысоватым, полным, с грудями, как у женщины, с толстыми ляжками, с большим животом и опавшими плечами, что заставляло его шить костюмы у портного, а не покупать готовые, потому что пиджак годился пятьдесят второй, а в брюки он еле влезал в пятьдесят шестые, а то брал и пятьдесят восьмые; когда у него еще не было мостов вверху и внизу во рту, врачи не находили изменений в кардиограмме, говоривших о сердечной недостаточности и начальной стадии стенокардии, когда его еще не мучили изжоги по утрам, головокружения, чувство разбитости во всем теле, когда его печень работала нормально и он мог есть жирную пищу, не очень свежее мясо, пить сколько угодно вина и водки, не боясь последствий, не знал, что такое боли в пояснице, возникающие от напряжения, переохлаждения и бог знает еще отчего; когда он не боялся переплывать Москву-реку в самом широком месте, мог играть четыре часа без отдыха в волейбол, когда он был скор на ногу, костляв, с длинными волосами, в круглых очках, обликом напоминал разночинца-семидесятника; когда он часто сидел без денег, зарабатывал как грузчик на вокзале или колол дрова в замоскворецких двориках, когда он голодал,

была опасность, что начинается чахотка, его посылали в Крым, и все обошлось; когда еще были живы отец, тетя Поля и бабушка и все жили в маленьком домишке на набережной, на втором этаже, где кроме них жили еще шесть семей и в кухне стояло восемь столов; когда он любил петь песни с девушками, когда его звали не Вадимом Александровичем, а Глебычем и Батоном; когда он только еще мечтал, томясь пришло к нему, не принеся радости, потому что отняло так много сил и того невосполнимого, что называется жизнью; в те времена, почти четверть века назад, был такой профессор Ганчук, была Соня, были Антон и Левка Шулепников, по прозвищу Шулепа, с которыми Вадим Александрович жил по соседству, были разные другие люди, понемногу исчезнувшие, и был он сам, непохожий на себя и невзрачный, как гусеница. А о Марине не было и помину.

Она где-то там на веранде под сенью берез аккуратно выцарапывает детским почерком на белых бумажных барабанчиках, натянутых на стеклянные банки и обкрученных по горлышку ниткой: «Крыжовник 72», «Клубника 72».

Антон давно уже нет на земле, и Сони нет. И о профессоре Ганчуке ничего не известно, скорей всего, тоже нет, а если и есть, то все равно что нет. Левка Шулепников сидит во дворе мебельного магазина в теничке, прислонясь спиной к стене, с папиросой в зубах и дремлет: все те же сны, просторные комнаты с высокими потолками, громадные оранжевые абажуры тридцатых годов...

Похоже на театр: первое явление, второе, третье, восемнадцатое. Каждый раз человек является немного другим. Но между явлениями проходят годы, десятилетия. Шулепников возник в институте — это было второе явление, он вынырнул из забвения так естественно и легко, как бывает только в первой половине жизни, когда кажется, что все происходит так, как было задумано — почему-то сразу на третьем курсе. А история с Ганчуком и со всеми остальными захватила четвертый и начало пятого. Шулепников необъяснимо быстро стал деятелем.

Впрочем, объяснимо: за кулисами стоял отчим, обладавший гигантскими возможностями. Об этом мало кто знал, но знали, конечно, Глебов и Соня, для которых Левка Шулепников остался добрым старым Шулепой. Его принимали за ловчилу, очень изобретательного, который успешно и стремительно делал карьеру: он в бюро, в комитете, там, сям и лучших девиц сразу взял на крючок. А на самом-то деле он был лопух, зауряднейший лопух. Но в этом разобрались не сразу, поначалу, он раздражал многих. Как-то подошел в коридоре парень, здоровенный харьковчанин по фамилии Смыга, и сказал: «Глебов, ты, говорят, учился в школе с этим Жулятниковым?» Глебов сказал: будем фамилию, мы ему рожу исковеркаем, — пообещал Смыва. — Скажи Жулябьеву, чтоб за девками из нашей группы не ухлестывал. А то сделаем бо-бо».

Через несколько дней Смыга появился в аудитории с раздутой физиономией, будто у него флюс. Левка рассказывал несколько удивленно: «Этот слон навалился на меня в туалете, стал орать: «Мы тебя предупреждали, скот, ты нас не послушал!» Какой-то бред, ну, я срубил его приемом самбо. Он башкой унитаза расколот». Глебов не поверил, зная, что Левка порядочный враль, но потом обнаружил, что унитаз действительно разбит, и тогда поверил не только тому, что Смыга был жестоко унижен, но и всему прочему, фантастическому, что Шулепников повествовал из собственной жизни. Например, тому, что во время войны он окончил какую-то хитрую секретную школу, где учили стрелять, бросать ножи, убивать голыми руками, а также иностранным языкам, и занимался таинственными делами в глубоком немецком тылу, но потом его демобилизовали из-за открывшейся язвы желудка. В подлинности этого рассказа могли быть сомнения, так как немецкий язык Шулепников знал плохо, ножи бросал довольно посредственно и вообще был криклив, развязен, врал по мелочам, что не сходилось с обликом человека, за которого он себя выдавал. Глебов решил так: наверно, Левка и в самом деле учился в хитрой школе (отчим устроил) и намеревался стать полковником Лоуренсом, но дело почему-то не выгорело. А Смыга, который так задирался и ненавидел Левку, стал затем его

преданнейшим подручным и прихлебателем — это уж через год, когда отчим подарил Левке трофейный BMW и Левка прикатывал в институт на вишневом, клопиного облика драндулете, вызывая у бедных студентов не просто зависть, а лишение дара речи. Смыга повсюду таскался за Левкой, бегал для него по магазинам и знакомил его с девицами, с которыми прежде знакомился сам.

Отношения к Левке Шулепникову в те годы — тут был пик его судьбы, такой затейливой и капризной — могли выражаться только в двух формах: рабски ему служить или злобно завидовать. Глебов, самый старый Левкин приятель, никогда не был его рабом, даже в младших классах, где так развито подхалимство одних мальчиков перед другими, сильными и богатыми, и не захотел превращаться в сбивались летучие компании, крутилась какая-то особая жизнь: дачи, автомобили, театр, спортсмены. В те годы возник хоккей с шайбой, или, как его называли тогда, «канадский хоккей», просто «канада». Увлечение было модным и, пожалуй, изысканным. На стадион приезжали дамы в цигейковых шубах и мужчины в бобрах. Шулепников носился с какими-то знаменитостями из команды летчиков. Как Глебова ни тянуло прикоснуться ко всей этой увлекательной житухе, представлявшейся ему несколько призрачно и одновременно грубо, и как сам Левка ни был зазывчив и благосклонен по старой дружбе, Глебов держался вдалеке: тут было не только самолюбивое нежелание быть десятой спицей в колеснице, но и природная глебовская осторожность, проявлявшаяся иногда безо всяких поводов, по наитию. Шулепников предлагал от своих щедрот: «Глебыч, на тебя есть заявка!» Это значило, что какая-то из Левкиных девиц, заметив Глебова или же что-то прослышав о нем — ничего странного, девицы, по тогдашнему выражению, «ложили на него глаз», — желает с ним познакомиться, а может быть, Левка и привирал, заявок не было, просто хотел приобщить друга к земным радостям. Левка был человек компанейский. Глебов уклонялся. Выдумывал причины. Ссылался на Соню: ждет Соня, договорился с Соней, Соня больна. На самом деле работал тайный механизм самосохранения, и это было

удивительно, ибо в те времена кто бы догадался о близких катастрофах! Но вот от чего Глебов не мог освободиться, что мучающе сопровождало его все годы, начиная с самых ранних, это глубоко на дне теснящая душу обида...

И ни ее побороть, ни возвыситься над нею не выходило. Как неизживаемая болезнь: то тяжело, то ничего не заметно, а то такое лихо, что нет сил терпеть. Ну почему, к примеру, ему и то, и это, и все легко, бери голыми руками, будто назначено каким-то высшим судом? А Глебову до всего тянуться, все добывать горбом, жилами, кожей. Когда добудешь, жилы полопаются, кожа окостенеет.

А началась эта мука — назвать ее можно *страданием от несоответствия* — в далекие поры, в классе, что ли, пятом или шестом, когда Шулепа поселился в доме на набережной. Глебов-то в своем двухэтажном подворье жил с рождения.

Рядом с серым, громадным, наподобие целого города или даже целой страны, домом в тысячу окон ютился на задворках, за церковью, за слипшимися, как грибы на пне, каменными развалюхами дом, немного кривой, с кое-где просевшей крышей, с четырьмя полуколонками на фасаде, известный среди жителей здешних улиц как «дерюгинское подворье». И переулочек, где стояла эта кривобокая красота, тоже был Дерюгинский. Серая громада висла над-переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона. Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу, в мелкоте, крашенной по столетней традиции желтой краской. Вот и *несоответствие*! Те не замечали, другие плевать хотели, третьи полагали правильным и законным, а у Глебова с малолетства жженье в душе: то ли зависть, то ли еще что. Отец работал на старой конфетной фабрике мастером-химиком, а мать — и то, и это, а в общем-то ничего. Образования не было. То шила что-то, то по конторам, то билетершей в кинотеатре. И вот служба ее в кинотеатре — захудаленьком, в одном из замоскворецких переулков — составляла предмет немалой гордости Глебова и отличала

его величайшей льготой: на любой фильм мог пройти без билета. А иногда в дневные часы, когда мало зрителей, мог даже товарища провести, а то и двух. Конечно, если мать была в добром расположении духа.

Эта привилегия была основой могущества Глебова в классе. Он пользовался ею расчетливо и умно: приглашал мальчиков, в дружбе которых был заинтересован, от которых чего-либо ждал взамен, иных долго кормил обещаниями, прежде чем оказывал благодеяние, а некоторых мерзавцев навсегда лишал своей милости. Так продолжалось, и глебовская власть — ну, не власть, а, скажем, авторитет — оставалась непоколебленной, пока не возник Левка Шулепа. Левка переехал в большой дом откуда-то из пригорода или даже, кажется, из другого города. Он сразу произвел впечатление — у него были кожаные штаны! Первые дни он держался надменно, поглядывал своими голубенькими глазами на всех сонно и презрительно, ни с кем не заводил разговор и сел на одну парту с девчонкой. Во время уроков он невыносимо скрипел штанами. Его решили проучить, вернее, унижить. А еще точнее — опозорить. Была такая расправа, называвшаяся «огого»: затаскивали на задний двор, наваливались кучей и с криками «огого!» сдирали с осужденного штаны.

Это было бы сладостью: стащить с него удивительные скрипучие штаны, пусть бы он поплясал, поныл, а девчонки смотрели бы на это из окна, их предупредили.

Глебов горячо подговаривал расправиться с Шулепой, который ему не нравился — ему вообще не очень нравились те, кто жил в большом доме, — но в последний миг решил не участвовать. Может, ему стало немного стыдно. Он смотрел из двери, выходящей на заднюю лестницу.

Они зазвали Левку после уроков на задний двор — их было человек пять; Медведь, Сява, Манюня, еще кто-то, — окружили Левку, о чем-то заспорили, и вдруг Медведь, главный силач класса, охватил Левку за шею,

опрокинул его рывком навзничь, остальные с криками «огого!» набросились, Левка сопротивлялся, бил ногами, но его, конечно, смяли, скрутили, кто-то сел ему на грудь, и вдруг раздался громкий треск, будто лопнула автомобильная шина.

Тут все пятеро кинулись в стороны, а Левка поднялся на ноги. Кожаные штаны были на нем, а в руке он держал пистолет. Он еще раз выстрелил в воздух.

Пахло дымом. Была минута ужаса. Глебов почувствовал, как у него подгибаются ноги. На него мчался Медведь с вытаращенными глазами, оттолкнул Глебова и побежал, прыгая через ступени, вверх по лестнице.

Потом оказалось, что у Шулепникова был пугач, очень красивый заграничный пугач, который стрелял особыми пистонами, производившими звук выстрела настоящего пистолета. Шулепников вышел из этой истории молодцом, а нападавшие были посрамлены и затем всячески старались помириться и подружиться с обладателем замечательного пугача. С помощью такого оружия можно было стать властителями дворов на всей па-бережной. Глебову сойтись с Шулепой было легче, чем другим. Ведь он не участвовал в нападении.

Шулепников не проявлял мстительности и, кажется, был доволен тем, что теперь перед ним заискивают и за возможность стрельнуть готовы отдать целое состояние. Но дело так просто не кончилось. Вдруг явился директор вместе с завучем и милиционером и стал кричать, что бандиты должны быть наказаны.

Директор был непохож на себя: он кричал, чего не бывало раньше, и он был бледен, щеки его тряслись, настроен он был беспощадно. Завуч сказал, что налицо вредительская вылазка. Милиционер сидел молча, но от его присутствия всем было не по себе.

Директор требовал, чтоб назвали бандитов по именам. Шулепников не хотел. Он сказал, что не заметил: устроили «темную» и разбежались. Директор приходил

еще дважды, но уже без милиционера. Фамилия директора была Мешковер, и почему-то казалось, что странная фамилия происходит от *мешкову* него под глазами. Длинное белое лицо, белые опухшие полукружья под глазами. Он нервничал, не мог сидеть спокойно на стуле, как сидят учителя, и все время бегал перед доской как заведенный. Классную руководительницу по прозвищу Труба никто не любил, но директора было жаль. Он выглядел каким-то пришибленным.

— Друзья мои, я вас прошу о мужестве... Мужество не в том, чтобы скрыть, а в том, чтобы сказать... — Его белое лицо и прерывающийся голос вовсе не говорили о мужестве.

При всем сочувствии к старому больному человеку класс, однако, молчал.

Шулепа тоже молчал. Он рассказывал потом, что отец его наказал — запер в ванной на целый вечер, а в ванной было темно и ползали тараканы, — требуя, чтоб он назвал имена. Но Шулепа не назвал никого.

Так Левка Шулепников из человека, которого собирались на весь свет опозорить, превратился в героя. И с этого, наверное, времени, с кожаных штанов, с пугача и геройского поведения — одна девчонка даже сочинила стихи в честь Шулепы — зародилось то свинцовое, та тяжесть на дне души... Потому что одному человеку не должно быть все. Тут, если хотите, и природа станет протестовать, и то, что называется роком. Левка Шулепников потом ощутил этот *протест рока*, эти зубы дракона на собственной бедной шкуре, но ведь тогда, в полусне детства, никто и помыслить не мог, что все когда-нибудь перевернется. И только Глебов чуял нечто — теперь не определишь точно, что именно — тревожащее, как глухие голоса яви, проникающие в сон. Нет, зависть — совсем не то мелкое, дрянное чувство, каким представляется. Зависть — часть протестующей природы, сигнал, который чуткие души должны улавливать.

Но нет несчастнее людей, пораженных завистью. И не было сокрушительней несчастья, чем то, что случилось с

Глебовым в миг его, казалось бы, высшего торжества.

В кинотеатрике за мостом крутили старую картину «Голубой экспресс».

Какие-то кровавые приключения, стрельба, убийства; все бредили этим фильмом, мать. Картина была, конечно, неслыханно хороша. Полтора часа Глебов сидел на откидном стуле, дрожа, как в ознобе. Разумеется, он должен был посмотреть картину еще не раз. Наступили дни бесспорного глебовского владычества.

Никакими иными путями, кроме как через него, Глебова, никто не надеялся посмотреть эту мировецкую, ни с чем не сравнимую картиночку, суть которой заключалась в том, что на поезд с красными нападали беяки, расправлялись с женщинами, стариками и детьми, но затем красные побеждали. Перестрелки и схватки происходили в тамбурах, на крышах и под колесами вагонов на полном ходу. Глупая публика не ходила на эту картину, зальчик в дневные часы пустовал.

Глебов выбирал одного, двух наиболее достойных, занимался выбором вдумчиво, после уроков объявлял решение, и они мчались опрометью через мост, торопясь к сеансу. Мать могла пропустить и четверых, пятерых. Но Глебов не разбрасывался. Спешить было некуда. Ему хотелось, чтоб Шулепа тоже попросил бы, поклянчил, как другие, но тот не проявлял интереса. Однажды сказал небрежно: — Да я ее сто раз видел!

Это было, конечно, вранье. Глебов наслаждался во время уроков, перебирая просителей: один предлагал ему серию французских колоний с кляссером в придачу, Манюня обещал повести с отцом на бега, были другие предложения, были и угрозы. Одна девочка написала записку с обещанием поцеловать его, если он проведет ее на сеанс. Записка разволновала Глебова.

Он никогда еще не получал записок от девочек и никогда не целовался. Девочку звали Дина, фамилия ее была Калмыкова. Дина Калмыкова, по прозвищу Абажур.

Она была толстененькая, очень румяная, черноглазая, чернобровая, не очень красивая, Глебов не обращал на нее внимания. Но она запомнилась ему на всю жизнь.

Получив записку, Глебов испытал мгновенный горячий страх. Он боялся пошевелиться и уж тем более боялся оглянуться назад — Дина сидела через две парты за ним. Первым делом он разорвал записку на мелкие клочки.

Лихорадочно обдумывал: как поступить? Конечно, он мог бы сказать ей: «Пожалуйста, могу взять тебя в кино, но целоваться необязательно». Но это, может быть, прозвучало бы для нее обидно. Главное, она была уж очень физкультурой обгоняла других девчонок. Очень здорово умела ходить по бревну.

На канате подтягивалась неплохо. У нее были огромные малиновые трусы с оборками, которые кто-то назвал «абажуром», и получилось прозвище: Абажур.

Если бы такую записку прислала Света Кириллова или, например, Соня Ганчук, Глебов разволновался бы гораздо сильнее. Света казалась Глебову красавицей, она держалась гордо, была гибкая, тоненькая, с темно-рыжими косами, и всегда у нее был такой вид, будто она знает важную тайну, никому не известную, а Соня Ганчук привлекала Глебова не красотой, а чем-то другим. Может быть, тем, что ее отец, профессор Ганчук, был героем гражданской войны и в его кабинете, куда Соня однажды тайком провела Глебова, на стене висели кинжалы, ружья и турецкий ятаган. Вот если бы Света или Соня обещали поцеловать его!

А Динка Абажур поставила его в тупик.

Все же на перемене, улучив минуту, когда Дина оказалась одна — она стояла у окна спиной к подоконнику и, улыбаясь, глядела в потолок, — он подошел к ней и буркнул: — Если хочешь, можно пойти сегодня. Пойдут Моржик и Химиус... — Помолчав, он добавил: — Если хочешь, конечно...

— Хочу, — сказала Дина, продолжая улыбаться и разглядывать потолок.

— Только не задерживайся, а то опоздаем. На два тридцать. Сразу одевайся, и бежим. Понятно? — Он говорил сухо, без намека на сантименты.

Во время сеанса Дина шепнула Глебову на ухо:

— Я пойду домой!

Он удивился. Главные перестрелки «Голубого экспресса» были впереди, и Глебов настроился посмотреть их в десятый раз. Дина объяснила шепотом: у нее заболел живот. Она поднялась и вышла из зала. Глебов, подумав, вышел вслед за ней. Было не совсем ясно, зачем он за ней вышел, и поэтому они оба чувствовали себя скованно и ни о чем не разговаривали. Дина шла быстрым шагом, почти бежала, и Глебов так же быстро шел с нею рядом. В молчании они пробежали переулок, вышли на набережную Канавы. Вода под мостом была черная и дымилась паром. Кое-где по реке еще плыли льдины, был апрель, тепло, холодно, не поймешь что, но у Глебова немного стучали зубы и весь он как-то дрожал. Теперь очень хотелось, чтобы Дина поцеловала его.

Но он не знал, как об этом напомнить. Ведь не зря же он выбежал на улицу, не досмотрев кино! И получилось как раз удачно, потому что Морж и Химиус остались в кино, а то бы возвращались вчетвером, было бы неудобно.

Он посматривал сбоку на Динку Абажур, видел ее пунцовую щеку, вздернутый нос, черные кудри, выбившиеся из-под шерстяной лыжной шапочки, замечал, как она отдувается от быстрой ходьбы, толстые губы ее были раскрыты, и ему было приятно это посматривание. Потому, что он чувствовал, что Динка Абажур, пускай она толстая и не очень красивая, была в эти минуты в его власти. И сама на это согласилась! Его сердце стучало. Он стискивал кулаки. Вдруг Дина пошла медленней. Глебов тоже замедлил шаг. Они проходили мимо старого четырехэтажного дома, но это был не ее дом. Она жила на

Полянке. Дина открыла тяжелую дверь подъезда, вошла внутрь, не оглядываясь, и Глебов вошел за ней. Она побежала по лестнице вверх, на второй этаж, на третий, на четвертый, не останавливаясь, он бежал следом. С площадки четвертого этажа вела еще выше узкая лесенка, и Дина поднялась по ней.

Глебов тоже поднялся. Там было низкое темное, дурно пахнущее помещение перед входом на чердак.

Дина повернулась к нему, тяжело дыша, и сказала:

— Ну!

— Что? — спросил он, задыхаясь.

— Можешь меня поцеловать.

— Почему это я должен? Ведь ты обещала...

— Дурак! — сказала Дина.

Они постояли молча, понемногу успокаиваясь. Она не хотела уходить и еще раз сказала тихо:

— Ой, дурак же...

Он твердо решил дождаться обещанного. Прошло, наверно, минуты три в полном молчании и неподвижности, потом из-за двери, ведущей на чердак, раздался истошный кошачий визг и что-то прошуршало стремительно. Они засмеялись. Дина внезапно приблизилась к нему толстым жарким лицом, и он почувствовал прикосновение — на одну секунду — чего-то влажно-летучего возле своих губ, и это был первый поцелуй в его жизни. Ничего особенно приятного, просто облегчение. Они сбежали по лестнице вниз и тут же, у подъезда, расстались: ей надо было идти направо за угол, на Полянку, а он побежал через мост.

А через день или два, в разгар глебовскою могущества, произошло крушение. Шулепников зазвал ребят после уроков к себе. В большом доме Глебов бывал не раз: то у Моржа на десятом этаже, где из окна открывался вид на Крымский мост, деревья парка и летом было видно, как крутится громадное парковое колесо, то

приходил к Химиусу, жившему в том же подъезде этажом ниже, они с Моржом устроили на балконах «веревочно-флажковую связь», то бывал у Сони Ганчук, а то у Антона в маленькой квартирке на первом этаже, где Антон жил с матерью Анной Георгиевной. Из всех обитателей большого дома Глебову по-настоящему нравился Антон Овчинников. Вообще-то Глебов считал Антона просто-напросто гениальным человеком. Да и многие так считали. Антон был музыкант, поклонник Верди, оперу «Аида» мог напеть по памяти всю, с начала до конца, кроме того, он был художник, лучший в школе, особенно замечательно он рисовал акварелью исторические здания, а тушью — профили композиторов; еще он был сочинитель фантастических, научных романов, посвященных изучению пещер и археологических древностей, интересовали его также палеонтология, океанография, география и частично минералогия. Глебова Антон привлекал не только гениальными способностями, но и тем, что он был скромный, не хвастун, не зазнайка — в отличие от других жителей большого дома, в каждом из которых сидела хотя бы малой дозой некая фанаберия, отвратительная Глебову, — и жил Антон скромно, в однокомнатной квартире, обставленной простой казенной мебелью, и не было у него немецких ботинок, финских шерстяных свитеров, удивительных ножичков в кожаных футлярчиках, и не приносил он в школу завернутые в папиросную бумагу бутерброды с ветчиной или сыром, от которых шел запах по всему классу.

Глебов не очень-то охотно ходил в гости к ребятам, жившим в большом доме, не то что неохотно, шел-то с охотой, но и с опаской, потому что лифтеры в подъездах всегда смотрели подозрительно и спрашивали: «Ты к кому?» Надо было называть фамилию, номер квартиры, иногда лифтер звонил в квартиру и выяснял, действительно ли там ждут в гости такого-то. Стоять и ждать, пока он выяснит, было неприятно. Лифтер, разговаривая, поглядывал зорким и неподкупным оком, как бы опасаясь, что Глебов юркнет в лифт и уедет без пойманным с поличным. И никогда нельзя было знать, что ответят в квартире: у Моржа была глухая домработница,

которая ничего не могла ни понять, ни объяснить, а у Химиуса часто снимала трубку бабка, вредоносная старуха, следившая за внуком с неусыпной бдительностью. Однажды она сказала лифтеру: Глебова не пускать, потому что Химиус не сделал уроков. И лишь когда Глебов приходил к Антону, он не испытывал мучительства допросов и переспросов — квартира Антона находилась на первом этаже, и лифтер с суровой внимательностью просто следил за Глебовым, как тот звонит, как ему отпирают.

Глебов заметил, что и ребята, жившие в доме, побаивались лифтеров и старались прошмыгнуть мимо них побыстрей.

Но Левка Шулепников, хотя и недавний жилец, держался иначе. Лифтер в его подъезде, сумрачный, с вислыми щеками очкарик, первый поздоровался с Шулепой кивком головы и даже как-то чуть дернулся за своим большим столом, на котором стоял телефон, а Шулепа прошел мимо, не обратив внимания. В лифт влезли с трудом пять человек, едва закрыли дверь. Лифтер пытался остановить, но как-то застенчиво, со смешком: «А вы, молодые люди, не встрянете промеж этажей?» Левка отвечал лихо: «А, ничего! Рискнем?» Все, конечно, орали: «Рискнем! Сделаем опыт! Проверка человекоподъемности!» Лицо очкарика, когда лифт поднимался, выражало застылый испуг.

В квартире, поразившей Глебова гигантскими размерами — коридоры и залы напоминали музей, — продолжался настрой дурашливости и молодецких проделок.

Сняли ботинки и пустились кататься в носках по блестящему, натертому паркету, падали, натыкались друг на друга, хохотали, было очень весело.

Вдруг из белой с матово-пупырчатым стеклом двери вышла старая женщина с папиросой во рту и сказала: «Это что за бандитизм? Немедленно прекратите!»

Надевайте ботинки и марш в детскую!» Левка, ворча, подчинился. Спросили: это, что ли, его мать? Он сказал, что это Агнесса. Учит его тетку французскому языку и ябедничает матери. «Я ее когда-нибудь отравлю мышьяком.

Или изнасилую». Все прыснули со смеху, одновременно изумившись. Уж он скажет так скажет! Ни у кого не повернулся бы язык произнести это слово, значение которого все понимали — хотя самые неприличные слова произносили без старухе с папироской этак свободно, легко. И чем отчетливей ощущал Глебов особенные качества Левки Шулепникова, тем сильнее сгущалось то саднящее, тяжелое, что потом превратилось в свинец.

А Шулепников так привык с тех дурацких лет произносить это слово безо всякого смысла, а просто как пустую угрозу или немудрящую шутку, что повторял ее и позже, уже взрослым балбесом, в институте. Разобидится на какую-нибудь преподавательницу и: «Если она мне тройку не поставит, я ее изнасилую».

И вот в детской, заставленной какой-то странной бамбуковой мебелью, с коврами на полу, с висящими на стене велосипедными колесами и боксерскими перчатками, с огромным стеклянным глобусом, который вращался, когда внутри зажигалась лампочка, и со старинной подзорной трубой на подоконнике, хорошо укрепленной на треноге для удобства наблюдений — Левка сказал, что вечерами можно прекрасно проводить время, разглядывая окна на другой стороне двора, — в этой комнате разрушилась хрупкая глебовская власть. Впрочем, этого никто не заметил, кроме него самого. Левка принес киноаппарат, повесил на стену простыню и показывал кино: «Голубой экспресс». Аппарат трещал, старая лента рвалась, надписи неразборчиво мелькали, и все же был общий восторг, а Глебов чувствовал себя внезапно и глубоко оскорбленным. Он думал: но почему же, черт возьми, у одного человека должно быть все, абсолютно все? И даже то единственное, что есть у другого человека и чем он может немного погордиться и

попользоваться, отнимают и дают тому, у кого есть все. Потом понемногу привык. Привыкают ко всему, даже к непосильной тяжести: тучники таскают по тридцать килограммов лишнего веса и приноравливаются.

Глебов привык к большому дому, затемнявшему переулок, привык к его подъездам, к лифтерам, к тому, что его оставляли пить чай и Алина Федоровна, мать Левки Шулепы, могла потыкать вилкою в кусок торта и отодвинуть его, сказав: «По-моему, торт несвеж», — и торт уносили. Когда это случилось впервые, Глебов про себя поразился. Как может быть торт несвеж? Ему показалось это совершенной нелепостью. У него дома торт появлялся редко, ко дню чьего-нибудь рождения, съедали его быстро, и никому не приходило в свеж, особенно такой пышный, с розовыми цветами из крема.

Глебов привык и к своей квартире, когда возвращался в нее после посещений большого дома. Первое время бывало как-то тоскливо, когда он видел вдруг, будто со стороны, свой кривоватый домишко с бурой штукатуркой; когда поднимался по темной лестнице, по которой следовало идти осторожно, потому что ступени были местами выбиты; когда подходил к двери, обсаженной, как старое одеяло заплатами, множеством табличек, надписей и звонков; когда погружался в многослойный керосиновый запах квартиры, где всегда что-нибудь кипятилось в баке и всегда кто-нибудь варил капусту; когда мыл руки в бывшей ванной комнате, тесной от досок, закрывавших саму ванну, в которой никто не мылся и не стирал белье, а на досках стояли принадлежавшие разным жильцам тазы, корыта; когда многое другое видел, ощущал, замечал, возвращаясь от Левки Шулепникова или от кого-нибудь из большого дома, но понемногу все сглаживалось, мягчало и переставало задевать.

Однажды, когда, вернувшись из гостиной, он, возбужденный, описывал, какая люстра в столовой шулепниковской квартиры, и какой коридор, по которому можно ездить на велосипеде, и что за конфеты были к чаю — поразили не сами конфеты, а размеры коробки, — а мать и бабушка с любопытством выспрашивали про то,

про другое, отец вдруг сказал, подмигивая Глебову: — Послушайте, мне сдается, вы хотели бы жить в том доме?

— А почему бы нет? — сказала мать. — Хочу иметь собственный коридор.

— А я хочу, чтоб судками не дренькали, — сказала баба Нила, страдавшая оттого, что соседка, которая жила в комнате напротив и приходила с работы поздно, начинала в двенадцатом часу шастать из комнаты в кухню и обратно, и все почему-то с судками, которые дренькали. Баба Нила спала на сундуке у дверей, и беготня соседки, дреньканье посуды ее будили. Отец посмотрел на мать и бабу с сожалением.

— Что вам сказать? Курочки вы рябы, дурочки вы бабы...

Таковы были его шутки, вполне незлобивые. Он и мать ласково называл «курочкой рябой». Женщины притворно возмущались, напускались на него, махая сердилась, — а он толкал Глебова, подмигивал.

— Нет, Димыч, какие клуши... Какие колоссальные курицы... Да неужто вы не понимаете, что без собственного коридора жить куда просторней? А дреньканье судков — это же музыка! Да я за тыщу двести рублей в тот дом не перееду...

Несмотря на то что отец всегда был настроен полушутливо, легкомысленно, всегда над матерью, над бабушкой и тетей Полей, маминой сестрой, немного насмешничал, разыгрывал их, попугивал и порой трудно было понять, всерьез он или дурачится, но поистине — Глебов понял это не сразу, когда повзрослел — он был человек вовсе не легкомысленный и не такой уж весельчак. Все это было понарошке, домашний театр. А внутри отцовской природы, скрытым стержнем, вокруг которого все навивалось, было могучее качество — осторожность. То, что он говорил, посмеиваясь, в виде шутки — «Дети мои, следуйте трамвайному правилу — не высовывайтесь!» — было не просто балагурством. Тут была потайная мудрость, которую он исподволь,

застенчиво и как бы бессознательно пытался внушать. Но для чего *не высовываться*? Кажется, ему представлялось это важным само по себе. Может быть, его душил, как душил грудная жаба, какой-то давнишний и неизжитый страх. Он был намного старше матери, выглядел стариком, курчавым седым стариком, хотя ему было лишь около пятидесяти, да ведь эти пятьдесят — борьба, невзгоды, выбивание из сил. Он вышел из очень бедной семьи конторщика, служившего на заводе Дуксы. Брат отца, дядя Николай, был летчиком, одним из первых русских летчиков, погибших на германской войне. В семье им гордились. Больше гордиться было нечем. Портрет дяди Николая в гимназической фуражке висел на видном месте. И вот в дружбе с Левкой Шулепниковым, которая крепла — Левка непонятно почему льнул к Глебову, приглашал домой, дарил книги, к которым сам был равнодушен, ко всем книгам вообще, и было подозрение, что потаскивал из отцовской библиотеки, потому что на некоторых стояли сделанные синей печатью изображения человека с молотом, лучи солнца и надпись: «Из книг А. В. Ш.», — даже в мальчишеском приятельстве отец видел какие-то опасности и предлагал «не высовываться». Он Левкой, потому что «у Шулепниковых своя линия жизни, у тебя своя и мешаться не надо».

Почему-то ему казалось, что Глебов непременно скоро надокучит Левке Шулепникову или, того хуже, его родителям и от этого произойдут неприятности. Глебов и сам чуял это нутром, ему самому не хотелось бывать в большом доме, и, однако, он шел туда всякий раз, когда звали, а то и без приглашения. Там было заманчиво, необыкновенно — о чем только не болтали с Антоном, какие только книги не показывала Соня Ганчук из отцовских шкафов и какими чудесами не похвалялся Шулепа! — а дома все было знакомо до ниточки, все глушь, скукота.

Впрямую отец не говорил ничего, все намеками, шуточками. Глебову же хотелось услышать про Левку отчетливо.

— А почему ты так говоришь? Чем тебе Шулепа *нехорош*?

Ведь то, чем был Левка нехорош Глебову, вернее, что возбуждало то гадостное, свинцовое, отцу было невдомек. У отца были какие-то другие счеты.

Отец уклонялся объяснять или же выставлял что-нибудь смехотворное, вроде: «Видишь ли, в принципе, я не против твоего Левки, или Шулепки, как ты его называешь. Кстати, советую эту кличку оставить... Называй его просто Львом... Дело в том, что он скверно воспитан. Он, например, не благодарит, когда встает из-за стола после чая».

Разумеется, это был вздор, отец хитрил. Левка не нравился ему по каким-то иным причинам, более существенным. Но когда Левка приходил в гости, отец бывал с ним приветлив, даже весьма любезен, как со взрослым, и называл его внушительно «Лев», что Глебова сместило. Кроме того, отец в присутствии Левки становился неумеренно многословен, рассуждал на разные темы и, что Глебова коробило, как-то привирал и хвастал.

Однажды он, рассказывая про дядю Николая, сообщил, что тот был первый русский летчик, сбивший в одном бою три аэроплана, в том числе аэроплан знаменитого аса графа фон Шверина. Аэроплан графа разбился, но граф чудом остался жив и вновь стал летать, заявив, что его мечта — встретиться в воздушном бою с тем русским и отомстить ему. Было напечатано во всех газетах.

Глебов слушал, изнывая от неловкого чувства. Отец сказал: — Даже ты этого не знаешь. Я тебе никогда не рассказывал.

А Левка Шулепников сказал: — Вы тогда говорили, что он сбил два аэроплана.

— Я? Не может быть! Я не мог говорить, что два. Тогда бы это не считалось рекордом. Два — это не рекорд. В том-то и дело, что он сбил три аэроплана в одном бою...

В другой раз отец рассказывал, как во время гражданской войны он служил на Кавказе под командованием товарища Кирова — какая-то служба на Кавказе имела место, это верно — и как побывал с кавалерийским отрядом в Персии, где видел огнепоклонников. Левка Шулепников тут же наврал про своего отца: будто тот в Тифлисе собственной рукой застрелил факира. Отец сказал, что видел в Северной Индии, как факир на глазах выращивал волшебное дерево. (В Северной Индии отец никогда не был, это уж точно.) А Левка сказал, что его отец однажды захватил шайку факиров, их посадили в подземелье и должны были расстрелять как английских шпионов, но, когда утром пришли в подземелье, там никого не оказалось, кроме пяти лягушек. Факиров было как раз пятеро.

— Надо было расстрелять лягушек-сказал отец.

— Так и сделали, — сказал Левка. — Но знаете, как трудно расстрелять лягушек? Особенно в подземелье?

Отец смеялся, грозя лукаво и одобрительно пальцем.

— Я вижу, Лев, ты любишь фантазировать! Это хорошо, это мне по душе.

Шутки шутками, а я действительно видел живых факиров... Во-первых, в Северной Индии, как я уже говорил, и, во-вторых, у нас в Москве, на Страстном бульваре...

Они были чем-то похожи, отец и Левка Шулепников. Поэтому разговоры их так ладно и споро текли. Глебову это не нравилось. Его раздражала неправда.

Не то, что отец привирал, а то, что за глаза одно, а в глаза другое. Он сказал отцу: — Ведь Левка тебе не нравится. Зачем же ты так? Улыбаешься, рассказываешь... Как будто он твой начальник...

И тут отец рассердился. Он почти никогда не сердился, не кричал, а тут стал кричать: — Молокосос! Делает мне замечания, маленький нахал! — Было его любимое: «маленький нахал». — Я улыбаюсь и что-то вам

рассказываю только потому, что я воспитанный человек. Это вы привыкли: Левка! Димка! Эй! Ты! Буза!

Невероятное нахальство — делать замечания отцу.

Он так раскипятился, что пожаловался матери и бабе Ниле, и те тоже напали на Глебова. Но вечером Глебов подслушал, как мать и отец шептались за ширмой: — И чего ты перед этим хлыщиком турусы разводишь...

— Он нахал! Учит отца!

— А ты не стелись, как это...

— Дураки вы! Не понимают!

Потом, поостыв, спустя день или два отец объяснял спокойно: — Кстати, насчет того, что ты давеча говорил... Будто я с твоим Левкой, как с важной персоной... А знаешь, неглупо заметил! Он и есть — ну, не Левка, скажем, а его родитель-действительно персоне, хотя я о том знать не знаю, ведать не ведаю. Потому, что все кругом перепутано, перевязано...

И вскорости подтвердилось: верно, перепутано одно с одним. Вдруг затеялась заваруха с дядей Володей, мужем тети Поля. Стали думать: можно ли ему помочь через Левкиного отца, Шулепникова? Дядя Володя и тетя Поля жили на Якиманке, но прибегали чуть ли не каждый день, особенно тетя Поля. Мать и бабушка ее любили. Она считалась в семье самой красивой, удачливой, работала в хорошем месте: модельером на фабрике игрушек. А дядя Володя — наборщиком в типографии. С ним вышла неприятность, обвинили чуть ли не во вредительстве.

Тетя Поля плакала: «Тось, ну какой Вовка вредитель? Он же себе вредит, больше никому...» Себе вредил сильно, потому что был пьяница. Отец его постоянно корил. А мать и бабушка то жалели тетю Полю, а то ругали ее: «Сама, дура, виновата, сама распустила! Зачем ты ему покупаешь?» — «Да пусть уж дома, — оправдывалась тетя Поля, — чем на улице с кем попало».

Баба Нила и мать доказывали, что из-за этого, из-за вина и неприятность случилась, но тетя Поля не

соглашалась: «Его люди погубили. Он ведь человек-то какой!» И правда, человек был очень хороший, бесхитростный. Но Глебов тогда еще догадался, что от таких мягко-душных да бесхитростных, всем вокруг пагуба: тетя Поля плачет, баба Нила страдает, мать только об этом и думает, а отец ругается. Хотела весной велосипед Глебову купить, но мать сказала: сейчас денег нет, надо Полине помогать.

И вдруг додумались: к Левкиному отцу...

То отмахивались и пальцем грозили: ты, мол, от них подальше, не хороводься, а теперь за помощью к Левке. Потому что всех поразила история с Бычками.

Бычки, или Бычковы, веселая семейка, жили в глебовской квартире, как паны. Все их боялись, на всех они цыкали и творили, что хотели. Запрут кухню с вечера и никого не пускают. Хоть в милицию бежать, хоть куда. Старик Бычков Семен Гервасиевич кожи в вонючей воде мочил. Он на дому сапоги тачал, самые дорогие, новомодные, и большей частью не сам тачал, а давал работенку, сам только заказчиков добывал, кожу.

Из-за ночного запирания кухни сколько бывало голошенья! Соседка, что жила напротив и приходила поздно, горячилась больше всех. Мать Глебова тоже возмущалась. Во-первых — вонь. Во-вторых — самоуправство.

Иногда мать выскочит, закричит: — Да я вас!.. Да с какой стати!

Старик Семен Гервасиевич низким голосом: бу-бу-бу. Отец с неохотой выползал в коридор. Все Бычковы тут же вываливались из «залы» — большую комнату, где жили вшестером, они называли почему-то залой, — и бу-бу-бу становилось всеобщее, громовое. Как будто гроза гремела и дождь колотил. Но главные гаденыши были Минька и Таранька. Тараньке было десять, учился он в третьем, а Миньке — пятнадцать, тот нигде не учился, потому что в пятом классе два раза оставался, выгнали, пошел куда-то учеником, бросил. И занимался какими-то неясными

делами, пропадал в парке в бильярдной и, может быть, даже с ворами шился.

Минька Бычок, он же почему-то Хлебало, был некоронованный мальчишечий царь Дерюгинского переулка и окрестностей. И царь недобрый. Встречаться с ним боялись, все знали, что он ходит не с пустыми руками.

Бывало, прибежит в школу после уроков и давай допрашивать: — Кто вчера к Тарасу залупался? Кто его на лестнице цапал? Ты, гад?

А он уж знал кто, потому что Таранька пожаловался или наврал. Этого золотушного Тараньку трогать остерегались, но были, конечно, люди неосведомленные, про Миньку не знавшие — а Таранька вел себя нагло, — они отваливали спроста затрещину или щелчок по кумполу, не догадываясь об ужасных последствиях.

Минька устраивал во дворе у кирпичной стены, куда он затаскивал своих жертв, краткое жестокое судилище.

— И как ты мог, сучонок, мово брата обидеть? Что ли, жизнь надоела?

Юрку Медведя, силача, который десятиклассников не боялся, он унизил и растоптал на глазах у всех. Вывернул ему руку за спину, тот закричал от боли, а Минька еще сильней выворачивает, так что Медведь на колени рухнул, и приказывает: — Говори: прости меня, Тарас Алексеевич, за то, что вас обидел... И никогда больше не буду!

И Таранька, маленький такой мозглячок с рыжими ресницами, стоял тут же и усмехался. Медведь терпел изо всей мочи, стонал, зубами скрипел и головой мотал — не хотел говорить, — а все-таки Бычок его пересилил. Таранька подошел к нему вплотную, прямо придвинул свои ноги к его лицу. И Минька давил его, давил: — А ну рожай, гад, слышь? А то руки нет!

Медведь и вышептал еле слышно: — Прости меня, Тарас Алексеевич... — и все остальное. Никто за него не заступился: больших ребят во дворе не было, а маленьким разве сладить?

Глебов Миньку Бычка тоже побаивался, но не так, как другие. Все-таки Минька был соседом. То просил что-нибудь, то сам давал. Иногда Глебов потихоньку гордился: все вот тру-хают в Дерюгинский переулочок ходить, там Минька Бычок со своей шайкой, а он ничего, не трухает. Может ходить по переулочку и поздно вечером, и ночью, никто его не тронет. Это свое преимущество Глебов ощущал остро, он даже чувствовал — с некоторым тайным стыдом, сам себе не признаваясь, — что в трудную минуту мог бы стать *немножко Таранькой*. И Минька бы за него заступился! Надавал бы кому следует.

Но Глебов никогда Миньке ни на кого не жаловался. Вообще не использовал всех выгод Минькиного соседства. Потому что под тайным самодовольством пряталось в глубине совсем другое — страх, леденящий душу. Такой страх, какого не видал никто. Потому что никто, как Глебов, не знал и не чуял всех этих Бычковых, от голоса которых мать бледнела, а бабушка крестилась.

Мать твердила: — Ради бога, ни с Минькой, ни с Таранькой ни в чем никогда не связывайся...

А как не связываться, когда сами лезут? Попробуй не свяжись... Была у них сестра Вера, девчонка лет шестнадцати. Работала на фабрике. Выглядела совсем как взрослая женщина — а может, так казалось Глебову, — вся толстая, грудь торчком, туфли скрипучие, и всегда от нее сильно пахло одеколоном.

Таранька выманит Глебова в коридор и пристаёт: — Хочешь, Верку голую покажу? Давай двадцать копеек!

Глебов, конечно, не хотел. Совершенно его не интересовало смотреть на голую Верку. Одна мысль об этом вызывала неприятное беспокойство. А еще где двадцать копеек взять? У матери воровать или у бабы Нилы просить? Но Таранька приставал злобно, настырно и собакой страдал: была у Бычковых черная большая собака по кличке Абдул, считавшаяся Минькиной собственностью. Абдул Глебова хорошо знал, но все-таки, если бы стали натравливать, неизвестно, чем бы кончилось.

Шли в ванную, снимали с досок корыто, ставили табуретку, Глебов на нее забирался. Наверху было окошко, ведущее в «залу», закрытое оттуда занавеской.

Таранька отодвигал изнутри занавеску, и Глебов смотрел, как Вера моется посреди комнаты в тазу. Вера почему-то Тараньку не стеснялась. Глебов видел все...

Потом Таранька впивался, как клещ: двадцать копеек гони немедленно! Все у них так — дай, подай тотчас! Не раз было, мать приходит в комнату расстроенная, чуть ли не в панике: — Опять Алевтина швейную машину требует... Что сказать?

Алевтина — мать Миньки, Тараньки и Веры, жена старшего Бычка. Давать швейную машину матери очень не хотелось. Она и так, и этак отлынивала, хитрила, но та все равно добивалась. Отвязаться от Бычковых не было никакой возможности.

А кончилась их власть так. Как-то забежали в Дерюгинский переулок Антон и Левка, зачем неизвестно, бежали они не к Глебову. Может, хотели пройти Дерюгинским переулком на набережную Канавы, был там проход дворами. Бычки их засекли, сначала пустили Тараньку с глупыми разговорами: «Эй, парень, а по ха не хо?» Значило: по харе не хочешь? Собственно, это был вызов на драку. С бычковская свора высыпала из подъезда-у них так шло по сценарию, — завертелась драка, кто-то выпустил Абдула, он, кажется, не покусал никого, но напугал сильно и одежду порвал. Левке-то что, а у Антона всякая тряпочка была на счету. На другой день в глебовскую квартиру пришел человек в кожаном длинном пальто, сразу стал стучать в «залу». Там громко завыл Абдул.

Старик Семен Гервасиевич и Алевтина с Таранькой были дома. Какой-то шум, разговоры, Алевтина кричала, собака лаяла с визгом — Глебова не пускали из комнаты, и вся семья Глебовых решила не выходить в коридор, сидели, прислушивались, — потом бухнуло три выстрела... Абдулка, говорят, забился под диван, не хотел вылезать.

Глебов был разочарован: он считал пса грозным и смелым, а тот вел себя как трусишка. Собаку и Бычковых, особенно Алевтину с Таранькой, которые рыдали, было немного жаль, хотя в квартире радовались. После гибели Абдула все у Бычковых как-то разом скособочилось и рухнуло. Миньку арестовали по воровскому делу, старик Семен Гервасиевич упал посреди двора, и его отвезли в больницу, а вскоре все остальные Бычковы сгинули неведомо куда, точно их ветром смело. И в «зале», перегороженной надвое, обклеенной новыми обоями, поселились смиренные жильцы Помрачинские, муж, жена и девчонка Люба, они бегали по коридору незаметные, как мышки, и разговаривали друг с другом всегда шепотом.

Я помню всю эту чепуху детства, потери, находки, то, как я страдал из-за него, когда он не хотел меня ждать и шел в школу с другим, и то, как передвигали дом с аптекой, и еще то, что во дворах всегда был сырой воздух, пахло рекой, и запах реки был в комнатах, особенно в большой отцовской, и, когда шел трамвай по мосту, металлическое брнчание и лязг колес были слышны далеко. Помню: взбежать одним духом по громадной боковой лестнице моста; наткнуться вечером под аркой на летучую дерюгинскую братву, бегущую из кино, как стая койотов; идти навстречу, сжав кулаки, деревеня от страха.

Все детство окутывало багряное облако тщеславия.

О, эти старания, жажда секундной славы! Мир был мал, человека четыре, пять — Антон, Химиус, Морж, ну, может быть, еще Соня и Лева и, конечно, смехотворный Ярик, — и в атом космосе клокотало наше вожделение: доказать. Нежная, сочащаяся, алая плоть детства. Все было ни с чем не сравнимо. Впервые в жизни выбежал на набережную во время перемены, на залитый солнцем асфальт.

Впервые в жизни догадался, что весна — это просто ветер, от которого холодно и стучат зубы. Худой изгибающийся человек в коротенькой курточке, в большом дамском берете кирпичного цвета шел быстро по тротуару

и разговаривал сам с собой. Безумная озабоченность съедала впалые щеки, проваленные глаза.

Прочитав мельком название нашей школы, он вдруг остановился и закричал:

— Этого не может быть! Этого не должно быть в природе! Вы слышите? — Он кричал не нам, теснившимся испуганной кучкой у парапета набережной, а кому-то незримому, кого сжигал его ненавидящий взгляд. — Средняя школа ЛОНО!

Какое ЛОНО? Что за бред? Боже мой, понимают ли, что творят?

И еще что-то гневное, сверкая очами. Вдруг он прыжком вскочил на узкий гранитный брус ограды и прошел по нему несколько шагов с такой легкостью, будто шел по тротуару. Мы замерли, девчонки вскрикнули от ужаса. Человек в берете как будто заметил нас и, остановившись и глядя сверху, произнес:

— Несчастные дети!

После чего лунатическим шагом пробежал несколько метров по барьеру, спрыгнул и быстро стал удаляться в сторону Москворецкого моста. Впервые в жизни я видел безумца. Этот человек ошеломил всех. Когда он удалился на порядочное расстояние, мы стали дико хохотать. Химиус подошел к гранитному барьеру и взобрался на него, помогая себе руками. Мы видели, что он трусит, у него не было сил разогнуться, и все же он первый встал ногами на барьер и, скорчив страдальческую мину, подняв руку, воскликнул: «Несчастные дети!» — и затем повалился мешком на тротуар. Мы хохотали. Но вот Антон Овчинников, смертельно бледный, с закушенными губами подошел твердыми шагами к барьеру и тоже взобрался на него, встал, выпрямился, расставил руки, как канатоходец...

Мы знали, что у Антона плоскостопие, что он близорук, что с ним случаются приступы падучей, но никто не остановил его. Нас всех поразило безумие.

Показалось, что ходить и даже бегать по барьеру невероятно легко.

Следом за Антоном полез грузный толстяк Жорик, по кличке Морж, и тоже прошаркал по граниту, не отрывая подошв и сгорбившись, как обезьяна, но когда спрыгнул на асфальт, ноги его подломились и он упал на колени. Потом полез я, потом Ярик.

Это было не так уж трудно. Главное, ни о чем не думать и смотреть под ноги, на каменную тропу барьера. Ужасный вопль Никфеда вырвал нас из странного сна. Вероятно, этим воплем был спасен Ярик, самый неловкий и беззащитный из нас, не умевший ни бегать, ни бороться, ни «стыкаться» на заднем дворе школы, где происходили кулачные дуэли «до первой кровянки».

Ярик был рыжий, белолицый и весь какой-то мягкий, как резиновая игрушка. Он напоминал птицу, не умеющую летать. Его били ребята из других классов, которым не терпелось кого-нибудь побить. Соблазнительная добыча: такой большой и такой бескостный. Однажды его побил третьеклассник. Все дело в том, что Ярик просто-напросто не мог никого ударить, пальцы его не сжимались в кулак, поэтому он не сопротивлялся, когда на него насакивали даже малыши.

А мы всегда защищали Ярика, из-за него разыгрывались сражения, ведь он был принадлежностью нашего класса, и те, кто поднимал на него руку, оскорбляли всех нас. Вдруг кто-нибудь орал: «Ярку бьют!» — и мы мчались сломя голову на второй этаж или на третий, под крышу, в гимнастический зал или во двор, где подлецы распоряжались нашим Яриком, как своей собственностью: валтузили его в уголке или же заставляли в лошадином качестве возить какого-нибудь ухаря на закорках. Но вот тогда, на набережной, когда он приблизился к барьеру и с отчаянным видом закинул на него свою длинную ходулю, согнутую в колене, мы смотрели на Ярика с радостным интересом, ожидая забавное зрелище. Между тем он наверняка бы свалился в воду и утонул.

Тогда это началось: испытывать волю. После того как по барьеру научились не только ходить, но и бегать почти все *из нашей компании*, кроме парня, у которого одна нога волочилась, он был освобожден от физкультуры, Антон выдумал другое испытание — пройти вечером Дерюгинским переулком. Это было гнуснейшее местечко на острове и, пожалуй, в целом Замоскворечье. Там гнездилась подозрительная публика. Разбойники, для которых не было ничего святого, клятвопреступники и разорители мирных и купеческих караванов, возглавлял одноногий Сильвер. Всякого пацана, забежавшего в переулок, они бессовестно грабили: у одного гривенник, у другого пятиалтынный, у третьего отнимали вставочку или ножик. Родители запрещали туда ходить.

Но зато уж если те попадали в наши дворы!

Антон занимался джиу-джитсу. Занятия заключались в том, что с утра до вечера — на переменах, на уроках, дома, читая книгу или слушая музыку по радио — стучал ребром правой ладони по твердому. Ладонь должна была стать как железо. Он называл это: бронировать ладонь. И, как все у Антона, благодаря его нечеловеческому упорству и самодисциплине дело бронирования подвигалось успешно. Месяца через два ладонь украсилась жесткой мозолью. Ни у кого из нас не хватило бы на это терпения. И, когда они выскочили из подъезда и встали перед нами, загораживая дорогу, и некий Минька, по кличке Бык — когда-то учился в нашей школе, здоровенный детина, у него уже усики пробивались, — спросил: «Вы чего тут не видели? К Вадьке прете?» — Антон ответил: «Нет!» Антон и Лева иногда заходили к Глебову. Они считали, что он парень ничего, не очень-то большой *оглоед*. Большинство ребят в нашем классе были, конечно, *оглоеды*. Но теперь Антон решительно ответил «нет!», хотя, если бы он сказал «к Вадьке», они бы не тронули нас. Вадька и Бык жили в одной квартире. Если б мы крикнули: «Эй! Батон!» — Вадьку Глебова звали Батоном — и Вадька выглянул бы из окна, драки могло не быть.

Но в том-то и дело, что Антон придумал все это, чтобы испытать нашу волю, и мы не должны были

облегчать испытания. Лева Шулепников нарочно не взял пугача. А бедный Антон Овчинников совсем не выглядел богатырем и атлетом — потом, после той драки, о нем пошли по дворам легенды, — он был коренаст, невысок, один из самых малорослых в классе, и ходил к тому же до поздних холодов в коротких штанах, закаляя свой организм, что придавало ему чересчур мальчиковатый вид. Люди, его не знавшие, не принимали его всерьез.

И еще он надевал очки, когда ходил в кино или отправлялся в загородные путешествия. Тогда, в переулке, он, кажется, был в очках. Поэтому, когда те начали лениво к нам приставать — одному подставили ножку, другому дали тычка, у Антона сделали попытку сорвать с носа очки, — произошло вдруг нечто, упал. Он ударил второго, тот упал тоже. Он замахнулся на третьего... Они падали как-то мгновенно, без крика, без лишних движений, будто по собственному желанию, как хорошо натренированные клоуны на ковре в цирке...

Это были сказочные секунды... Потом нас страшно избили... И еще эта собака... Антон лежал месяц дома с забинтованной головой... И при этом мы чему-то безмерно радовались! Чему мы радовались? Так странно, необъяснимо.

Мы навещали Антона в его темноватой квартире на первом этаже, где не бывало солнца, где на стенах рядом с портретами композиторов висели его акварели, желтоватые с голубым, где молодой, выбритый наголо человек с ромбами в петлицах смотрел на нас с фотографии в толстой деревянной раме, стоявшей на пианино — отец Антона погиб в Средней Азии, убитый басмачами, — где всегда было включено радио, где в потайном ящике письменного стола лежали стопкой толстые тетради за пятьдесят пять копеек, исписанные бисерным почерком, где в ванной шуршали по газетам тараканы — в том подъезде во всех квартирах были тараканы, — где мы ели на кухне холодную картошку, посыпали ее солью, заедали замечательным черным хлебом, нарезанным большими ломтями, где мы хохотали,

фантазировали, вспоминали, мечтали и радовались чему-то, как дураки...

И опять возникал разговор о дяде Володе: можно ли ему помочь через отца Шулепникова? Теперь казалось, что тот — человек могущественный. Затевала разговор мать. Отец колебался. «Не надо обременять людей, — говорил он, сильно нервничая. — Для Шулепникова это мелкое дело, просить неудобно». Мать говорила: «Ты Володю никогда не любил. А мне он родной. И я жалею Полину, ребятишек. Нет, я непременно попрошу Леву, чтобы он поговорил с отцом». — «Я запрещаю это делать!» — однажды крикнул отец.

Мать редко вступала в споры с отцом, но делала обыкновенно по-своему.

Однажды Левка Шулепа прибежал вечером — Глебов помогал ему по алгебре, да и просто так, потрепаться, — сели пить чай с баранками, Левка любил пить чай у Глебова, жаловался, что дома баранок не покупают. И мать вдруг заговорила про дядю Володю. Насчет того, чтобы как-то узнать и помочь, потому что протянула бумажку с фамилией. Написала заранее. Глебов почти физически почувствовал, как напрягся и сжался отец, который мешал ложечкой сахар в стакане, и вдруг движение руки, звяканье ложечки прекратились, он замер, не поднимая головы. А мать улыбалась, глаза ее блестели, и, когда она приблизилась, Глебов почувствовал, что от нее пахнет вином. Ему выступление матери тоже не очень понравилось, потому что Шулепа был все-таки его товарищ и если о чем-то его просить, то делать это положено ему, Глебову.

Когда Левка ушел, отец набросился на мать с попреками: «Как тебе не стыдно? Ты пьяна! В пьяном виде заводишь разговор!» Мать, конечно, говорила, что неправда, что не пьяна и чтоб он не молол ерунды. Да она и не была пьяна, просто чуть выпила для куражу. Отец распалялся, кричал, что за себя не отвечает, снимает с себя ответственность, было непонятно, в чем суть угроз. Он

вообще любил туманно грозить. Редко видел Глебов отца в таком волнении. Он даже кулаком стучал по столу и кричал в гнев невинное: «Я для вас все! Каждый шаг! А вы, черт бы вас взял! Куриные мозги!» Только потом Глебов сообразил, что отец насмерть перепугался. Еще у него была черта: по-настоящему сердился совсем не из-за того, о чем говорил вслух. Истинную причину следовало угадывать. Это бывало трудновато, порой невозможно. Но вот, когда он обличал мать за рюмку, выпитую впопыхах в подвальчике на Полянке, причина была ясна: разговор насчет дяди Володи. Ведь запрещал категорически! А мать не послушалась.

И только в конце, отведав душу, наоравшись, сказал как бы между прочим: «А насчет Володьки глупое дело... И как у тебя, у дуры, язык повернулся?» Мать расплакалась. Отец огорчился, ушел куда-то, стукнув дверью.

А баба Нила спокойно сказала Глебову: «Дим, ты Левке своему напхни.

Тут шуми не шуми, боись не боись, а помогать надо...» Всегда баба Нила умела сказать что-то простое, тихое, хотя рядом безумствовали, кричали вздор. Глебов любил эту маленькую, калачиком гнутую старушонку с седым впрожелть, аккуратным пучочком на затылке, с дробным, желтоватым личиком, всегда она колготилась по дому, возилась, шаркала, сновала туда-сюда. Одна весь дом тащила, с утра до поздноты на ногах. И она одна, казалось Глебову, понимает его *иногда*.

Как-то морозным днем Глебов сидел в комнате Левки Шулепы, играли в шахматы, и вдруг зашел Левкин отец. Был еще третий парень, играли навывлет.

Старшего Шулейникова Глеб видел редко, раза три или четыре за всю жизнь.

Левка говорил, что батя работает круглые сучки, дома не бывает и даже спит на работе. Левка называл его батей, хотя он был Левкин отчим, а настоящий отец со странной двойной фамилией умер или же как-то таинственным

образом исчез из Левкиной жизни. Прохоров-Плунге! Вот как звали Левкиного отца.

Потому что лет двадцать спустя Левка стал носить свою истинную фамилию: Прохоров. Без Плунге. Но это было уже совсем в иной жизни. А между Шулепниковым и возникшим из небытия Прохоровым-Плунге — не им самим, а его именем — был еще третий отец, носивший фамилию Фивейский или Флавицкий. В Левкиных отцах можно было запутаться. Но мать у него всегда оставалась одна.

И это была редкая женщина! Левка говорил, что она дворянского рода и что он, между прочим, потомок князей Барятинских.

Алина Федоровна была высокая, смуглая, разговаривала строго, смотрела гордо. Глебову казалось, что она главная в семье и Левка боится ее больше отца. Что-то среднее между боярыней Морозовой и Пиковой Дамой. А сам Шулепников, Левкин отчим, был какой-то неказистый, пучеглазый, небольшого роста, говорил тихим голосом, а лицо поразило Глебова совершенной бескровностью. Таких блеклых неподвижных лиц Глебов у людей не видел. Ходил Левкин отчим в серой гимнастерке, подпоясанной тонким, в серебряных украшениях кавказским ремешком, в серых галифе и сапогах. И вот он вошел в комнату, посмотрел недолго на шахматную партию и спросил: — Глебов Вадим — это, кажется, ты?

Глебов кивнул.

— Пойдем на минуту со мной.

Глебов заколебался. Ему не хотелось бросать партию в выигрышном положении — с двумя лишними конями.

— Все! Ничья! — крикнул Левка и смешал фигуры.

Удрученный, думая о том, какой Шулепа хитрый и несправедливый человек, Глебов шел вслед за его отчимом в кабинет. Ему и в голову не могло прийти то, что он там услышал.

— Садись!

Глебов сел в кожаное темно-вишневое кресло, такое мягкое, что он сразу как будто провалился в яму и слегка испугался, но быстро пришел в себя и нашел удобное, покойное положение. Левкин отчим сказал: — Мне Лев передал записку твоей матери относительно... — Он надел очки и прочитал: — Бурмистрова Владимира Григорьевича. Это ваш родственник? Так, постараюсь навести справки о нем, если будет возможно. А если нет, тогда уж не взыщите. Но и к тебе есть просьба, Вадим!

Старший Шулепников сидел за громадным столом такой маленький, понурый, устало опустив плечи, и что-то рисовал на листе бумаги.

— Скажи мне, Вадим, кто был зачинщиком бандитского нападения на моего сына Льва в школьном дворе?

Глебов обомлел. Он никак не ожидал такого вопроса. Ему казалось, что та история давно забыта, ведь прошло несколько месяцев! Он тоже был зачинщиком, хотя в последнюю минуту решил не принимать участия. Но кто-нибудь мог рассказать. Все это Глебов сразу сообразил и немного струсил. Видя, что Глебов смутился и молчит, Шулепников сказал строго: — Это не просто так, не пустяки — напасть на моего сына. Дело тут групповое, но должны быть зачинщики, организаторы. Кто они?

Глебов пробормотал, что не знает. Ему было не по себе. До такой степени не по себе, что что-то заныло и заболело внизу живота. Отчим Шулепы не походил на злого человека, не кричал, не ругался, но в его тихом голосе и взгляде светлых навывкате глаз было что-то такое, что становилось неуютно сидеть напротив него в мягком кресле. Глебову подумалось, что другого выхода нет и надо сказать. От этого, может быть, зависела судьба дяди Володи. Он сначала схитрил, стал говорить про Миньку и Тараньку, но Левкин отчим резко прервал, сказав, что то дело закончено и никого не интересует. А вот кто был зачинщиком на школьном дворе? Те лица до сих пор не обнаружены и не понесли наказания. Глебов мучился,

колебался, язык не двигался, смелости не хватало, и так они сидели некоторое время молча, как вдруг случилось непредвиденное: в животе Глебова громко, явственно забурчало. Это было так неожиданно и стыдно, что Глебов сжался, втянул голову в плечи и замер. Бурчание не стихало. Но Левкин отчим не обращал на него внимания. Он сказал: — Видишь ли, у Льва есть большой недостаток — он упрям. Уперся и не хочет давать показаний из ложного чувства товарищества. А ты знаешь, наверно, что он не родной мой сын, он сын Алины Федоровны, и это усложняет дело, потому что я не могу, скажем, применить меры воздействия. Что же делать? Ты обязан помочь, Вадим. Тебе двенадцать лет, ты взрослый человек и понимаешь, как все это серьезно. Это *очень, очень* серьезно! — И он поднял внушительно палец.

Бурчание в животе прекратилось, но Глебов боялся, что оно возобновится каждую секунду. От этого страха он и выпалил: назвал Медведя, который действительно был главный подбивала и которого Глеб не любил, потому что тот, пользуясь своей силой, иногда давал ему без всякого повода подзатыльники, и назвал Манюню, известного жадину. В общем-то, он поступил справедливо, наказаны будут плохие люди. Но осталось неприятное чувство — как будто он, что ли, кого-то предал, хотя он сказал чистую правду про плохих людей — и это чувство не покидало Глебова долго, наверно, несколько дней.

А потом Левка как-то пришел к Глебову и сказал, что батя просил передать: про дядю Володю узнать не удалось. Никто особенно не огорчился, потому что и так догадались, что не удалось. Дядя Володя был уже на севере и прислал оттуда письмо. Ну, а с Медведем и Манюней ничего страшного не приключилось. Родителей Медведя перевели куда-то по работе, они уехали из Москвы, и Медведь уехал с ними, а Манюня очень плохо учился, его выгнали из школы, он попал в «лесную школу», оттуда сбежал, связался с блатными и во время войны сидел по уголовным делам в лагере. И был еще такой случай: той весной, когда Манюню выгоняли из школы, он пришел во двор большого дома, подстерег

Левку и навешал ему пилюль. Говорили, что из-за одной девчонки, но Глебов-то знал, из-за чего.

Все ушло в такую даль, так исказилось, затуманилось, расплзлось, как гнилая ткань, на кусочки, что теперь не поймешь: что же там было на самом деле? Отчего произошло то и это? И почему он поступил так, а не по-другому?

Отчетливо сохраняется чепуха. Она нетленна, бессмертна. Например, бурчание в животе. И от того, что случилось потом, спустя несколько лет, когда судьба опять столкнула с Левкой Шулепниковым в институте и опять возникли Соня, ее как гвоздь со стальной сверкающей шляпкой? Тоже чепуха: как профессор Ганчук после того собрания, где его уничтожали, в кондитерской на улице Горького поедал с жадностью пирожное «наполеон». Глебов случайно проходил мимо и увидел в окно.

Когда осенью сорок седьмого во дворе института. Глебов увидел Шулепникова, узнал его, несмотря на то, что за семь лет Левка стал другим человеком — высокий, лобастый, с ранней пролысинкой, с темно-рыжими, квадратиком, кавказскими усиками, которые были не просто тогдашней модой, а обозначали характер, стиль жизни и, пожалуй, мировоззрение, — Глебов кроме изумления, любопытства испытал в первую же секунду удар того забытого, *свинцового*, что навсегда связано с Шулепниковым. Они хохотали, тискались, тузили друг друга, кричали, веселясь — «А это кто такой?», «Что это за тип?», «А что он тут делает?» — и одновременно давила Глебова знакомая гирька. Опять он был, в своем пиджачке, в ковбойке, в заштопанных брюках, если и не бедным родственником, то бедным приятелем этого именинника жизни.

На Шулепникове была прекрасная, из коричневой кожи, со множеством молний американская куртка. Такие куртки попадались в комиссионных магазинах, но редко, и стоили кучу денег. Глебову и не мечтать. Однако он мечтал. В ту пору, когда он часто бывал у Сони Ганчук, где

собиралась отборная публика и где он еще не чувствовал себя достаточно уверенно, хотя был старым Сониным другом, он страстно мечтал как раз о подобной куртке. То что нужно: мужественность, элегантность, крик моды, практичность. Черт знает что бы он не отдал за такую штуку! И, разговаривая, он не мог оторвать глаз от мягких кожаных складок. Левка что-то рассказывал о Германии, о неудачной женитьбе, о бате, о доме, где жил теперь: напротив телеграфа, где коктейль-холл.

Глебов тоже рассказывал. Они говорили грубыми голосами о грубых вещах. Война вытряхнула из них мальчишескую начинку, так им мнилось, во всяком случае.

На самом деле они оставались мальчишками.

Глебов сказал: — Курточка у тебя больно хороша. Где бы достать?

— А пожалуйста, не проблема.

— Нет, верно. Где достать?

— Да я батю попрошу, он скажет одному деятелю... Через два часа сидели в коктейль-холле на высоких сиденьях — Глебов был тут впервые, сиденья казались нелепыми, неудобными, какие-то птичьи насесты — и, болтая ногами, непрерывно куря, потягивая крепчайший «коблер» и постепенно пьянея, рассказывали друг другу о бурных приключениях семи лет. Много они могли рассказать! Глебов был в эвакуации в Глазове. Мать умерла на улице — остановилось сердце. А Глебов был в это время в лесу, на лесозаготовках, ничего не знал. Левка летал с дипломатическим поручением в Стамбул. Оттуда на самолете с чужим паспортом его перебросили в Вену. Глебов вернулся из леса после похорон, чуть не умер от воспаления легких, его выходила баба Нила. Потом приехал отец, раненный в голову. Отец не мог делать никакой работы, требовавшей умственного напряжения. Работал штамповщиком в цехе.

Морж погиб под Ленинградом. Медведь, Щепа, Химиус неизвестно где. Все рассыпались из того дома кто куда. В доме не осталось никого, кроме Соньки Ганчук. А

жена Шулепы была итальянка, Мария, женщина редкой красоты. В Глазове люди гибли от голода, Глебов научился есть суп из травы, пить чай из желудей. Мария была на семь лет старше Левки Шулепы. Одно время ему нравились женщины старше. Но потом надоело. У них вырабатываются комплексы.

Нет, женщины Глебова были младше. Все, все, все его женщины были младше, кроме одной. О, эта единственная была фрукт! Ну, как-нибудь в другой раз.

Надо долго рассказывать. А когда же погиб Антон? Говорят, осенью сорок второго. Непонятно, как его взяли на фронт: он был совсем больной, близорукий, с припадками. И очень плохой слух. У Антона плохой слух?

Конечно, всегда переспрашивал на уроках и садился за первую парту. Но ведь он был поразительно музыкальный, оперу «Аида» помнил всю наизусть. Ну и что?

А Бетховен? Да, вот кого жалко — Антошку. Он был гениальным человеком.

Конечно, это был гений. Причем в леонардовском духе. Абсолютный гений, тут уж ничего не скажешь. Навестить его мать. Говорят, они очень бедствовали в эвакуации. А его мать живет там же, в комнате на первом этаже, в среднем дворе. В тараканьем подъезде. Левка застрелил интенданта союзных войск, ходил под трибуналом, грозила вышка, но потом выяснилось, что интендант — не дали. По-видимому, это была брехня. Но тогда Глебов верил каждому слову, и радовался тому, что встретил Шулепу, и готов был отдать за «коблер» последние деньги, чего делать не требовалось, платил Левка. И еще Глебову очень хотелось такую же кожаную куртку.

Потом слонялись вокруг телеграфа, задирались к прохожим, пытались знакомиться с женщинами, милиционер смотрел беззлобно, Левка хвастался: — Меня тут знают будь-будь! Они только и живут тем, что я их не трогаю...

Он супился сурово и грозил милиционеру пальцем. Потом поднялись к нему на четвертый этаж. Опять что-то пили. Левкина мать Алина Федоровна осталась совершенно такой же, как была в довоенной жизни. Удивительный факт! Все кругом переменялось, Левка стал здоровенным и лысым, мать Глебова умерла, он сам чуть не умер, сначала в Глазове от воспаления легких, потом много раз, когда бомбили аэродром, и столько людей погибло и исчезло, а мать Левки по-прежнему смуглела худыми щеками, курила папиросы, смотрела косо и странно, щуря глаза.

— Ты, прости, пожалуйста, за пошлый вопрос, еще не женился, Вадим?

Молодец, ты всегда был рассудительный. Не обижаешься, что говорю тебе «ты»?

И голос прежний: сипатый, ленивый, чуть с картавинкой. Впрочем, хотя и необыкновенная женщина и великого ума — Левка говорил: «Я перед мамашей преклоняюсь, она в своем роде талант, но характер, как у Ивана Грозного», — могла бы обойтись и без «ты». Глебов хотел держаться с достоинством. Отвечал кратко, улыбался сдержанно, а на ковры, на картины, на всякие финтифлюшки, повсюду понатыканные, не поднимал глаз. Как бы не замечал вовсе. Потом уж, приглядевшись, обнаружил, что убранство комнат как-то заметно отлично от квартиры в большом доме: роскошь попышней, старины больше и много всего на морскую тему. Там модели парусные на шкафу, тут море в рамке, там морской бой чуть ли не Айвазовского — потом оказалось, что вправду Айвазовского — и какие-то золоченые якоря на стенах. Он сказал: — А вашей старой мебели, Алина Федоровна, я что-то не узнаю. Все будто другое.

Если б не был в ту минуту порядочно «под банковской», он бы себе такой изнутри: скажи да скажи! Ведь люди в войну последнее продавали, все нажитки, чтоб не пропасть — баба Нила продала серебряные ложки, подстаканник, коврик, шали, все хоть немного ценное, что из Москвы везли, даже свой крестик нательный, потому

что Глебов умирал, литр молока на рынке стоил примерно так же, как серебряная ложечка, — а тут новое накоплено и, смотри-ка, Айвазовский. Шутка сказать: Айвазовского приобрести. Он подошел нарочно к стене и стал внимательно и наклоняясь близко, как знаток, картину разглядывать. Левка смеялся.

— Какова наблюдательность! Нет, мать, ты скажи: пьян, пьян, а приметлив.

Алина Федоровна сказала: — Древние говорили: в один и тот же поток нельзя вступить дважды. Так, кажется? Я не ошибаюсь, молодые люди? Ты, Дима, вступил в наш поток, — жестом она объединила себя с сыном, — в каком же примерно году? Когда переехали в тот ужасный дом, в тридцать каком-то...

— Ну, неважно. Лет десять назад, — сказал Глебов. — Но я хорошо помню вашу квартиру. Помню, в столовой был огромный, красного дерева буфет, а верхняя часть его держалась на тонких витых колонках. И на дверцах были какие-то овальные майоликовые картинки. Пастушок, коровки. А?

— Был такой буфет, — сказала Алина Федоровна. — Я уж о нем забыла, а ты помнишь.

— Молодец! — Левка шлепал Глебова по плечу. — Наблюдательность адская, память колоссальная. Можешь работать. Я дам рекомендацию...

Когда остались одни в его комнате, он объяснил: у Алины Федоровны теперь другой муж. Шулепников умер. И эта квартира со всей здешней хреновиной принадлежит Флавицкому или Фивейскому, новому мужу Алины Федоровны. Он тоже большой человек. Как раз занимался делом Шулепникова: тот умер странно, его нашли мертвым в машине в запертом гараже. То ли диверсия, отравление газом, то ли просто остановилось сердце. Ведь он работал ночами напролет. Фивейский расследовал это дело, и так они познакомились с матерью.

Глебов чуть было не спросил: почему же вещи из старой квартиры не перевезли к Фивейскому? Тут была

какая-то неясность. В Левкиной жизни было много неясного. Лучше не спрашивать. Левка сказал, что новый «батя» мужик недурной, из моряков, любитель выпить, поухаживать за балеринами, он его, Левку, приглашал однажды в актерскую компанию, было очень мило, хотя немного по-стариковски. Фивейскому шестьдесят, но, правда, здоров страшно. Глебов спросил: «А как мать? Насчет компании с балеринами?» Левка пожимал плечами: «Откуда ей знать? Дело чисто мужское».

Глебов внимал, поражался, сам себя успокаивал: ну и шут с ними, пусть живут как хотят. Но что-то его зудило и раздражало, будто чесалась нестерпимо старая болячка. Потом он этого Фивейского или Флавицкого видел раза три в квартире на улице Горького, однажды на стадионе «Динамо». Тот был ко всему еще лютый болельщик, протезировал какой-то особой команде, в которую благодаря связям натащил лучших футболистов из других клубов. Левка одно время всей этой ерундой горел. Новый Левкин «батя» был громадного роста, разговаривал оглушительно, руки жал, как станком, у него были блестящая лысая ядровидная голова, запорожские усы, и при этом носил очки в золотой оправе. Словом, это был тип!

Большой дом, так много значивший в прежней жизни Глебова — тяготил, восхищал, мучил и каким-то тайным магнитом тянул неодолимо, — теперь, после конца войны, отпал в тень. Не к кому стало туда ходить. Кроме Сони Ганчук.

Но и ходил-то вначале не к Соне — Соня долго оставалась как бы принадлежностью детства, спокойно и тихо отмеркшей в его душе вместе со всем прочим, что стало ненужным и забылось в тяжести лет, — ходил к ее отцу, профессору. Тут было просто совпадение, обнаруженное Глебовым легко и несуетливо, без спеха. Прошло, наверное, уже полгода занятий в институте, когда он решил сообщить профессору: так и так, мол, мы с вами, Николай Васильевич, в некотором роде знакомы. Я дома у вас бывал. Профессор, листая книгу, протянул

равнодушно: «Да что вы говорите?» И в тот, первый раз на этом кончилось. То ли не понял, то ли не захотел понять.

Глебов, не конфузясь особо, решил напомнить потверже — Соня его занимала слабо, но сам Ганчук был фигурой внушительной и, как Глебов догадался, чрезвычайно ценной для него на первых порах — и как-то после занятий улучил минуту и передал привет Соне.

— А вы откуда Сонечку знаете? — удивился Ганчук.

— Я ж вам рассказывал, Николай Васильевич...

Как? Что? Ах да! Верно, вспоминаю, молодых людей у нас всегда было много, и вас вспоминаю. А бюстики, такие маленькие, беленькие, философов, стоят в кабинете? Вот как, даже бюстики запомнились. Профессор улыбался, довольный. Жизнь налаживалась. Пока еще по карточкам, но радость крепла, дружна. Бюстики стоят! Войну перестояли, эвакуацию, невзгоды, гибель людей, идей, на то они и философы. Ганчук почему-то очень обрадовался и воспламенился, когда Глебов вспомнил про бюстики. Гораздо больше обрадовался, чем когда про Соню. И сразу стал приглашать: — Вы заходите как-нибудь на чаек, Сонечка будет рада...

Потом от Сони прилетел привет, потом приглашение. Ганчук часто болел, к нему приезжали на дом на консультацию, а то и сдавать зачеты.

Соня стала высокой бледной девушкой, несколько худоватой, с бледными полными губами, бледной голубизной в больших глазах, выражавших доброту и внимание. Она училась в институте иностранных языков.

— Вадька, что случилось? Как это понять? — были первые ее слова после шестилетней разлуки. — Почему ты так прочно исчез?

Будто, расставаясь, они обещали быть друзьями навеки.

Однако отношения их и тогда, и теперь были безнадежно товарищескими, ровными, как стена. Соня была лишь добавкой к тому солнечному, многоликому,

пестрому, что называлось — детство. И если бы не возник профессор Ганчук, наверное бы, навсегда канула в даль Соня. Глебов сидел в профессорском кабинете на диванчике с твердой гнутой спинкой из красного дерева — тогда такие диваны продавались, как дрова, в скупочных магазинах, а нынче попробуй найди за любые деньги — и с наслаждением вел беседу о попутчиках, формалистах, рапповцах, Пролеткульте, о многом, что когда-то Глебова интересовало нешуточно. Профессор знал уйму подробностей. Особенно остро он помнил всякие изгибы и перипетии литературных боев двадцатых — тридцатых годов. Речь его была четкой, решительной. «Тут мы нанесли удар беспаловщине... Это был рецидив, пришлось крепко ударить... Мы дали им бой...» Да, то были действительно бои, а не споры. Истинное понимание вырабатывалось в кровавой рубке. Глебов слушал почтительно, представляя выбрасывались за борт в кипящее море, и крепенький, толстый старичок с румяными щечками казался ему богатырем и рубакой, Ерусланом Лазаревичем.

Впрочем, так оно и было в какой-то мере. Очень нравились Глебову чаепития в кабинете, воспоминания, интимности. «Кстати, мы обезоружили его, знаете, каким образом? Как ученый, он был совершенный нуль, но держался благодаря одной особе...» Глебову нравились запах ковров, старых книг, круг на потолке от огромного абажура настольной лампы, нравились бронированные до потолка книгами стены и на самом верху стоявшие в ряд, как солдаты, гипсовые бюстики. Где там Платон, где Аристотель? Снизу различить невозможно, потолки в том доме были очень высокие, не то что строят теперь, наверное, три с половиной, не меньше. Но Глебову казалось, что неразличимые снизу белые статуэтки — эта школьная красота была приобретена в Германии в годы инфляции, когда жадный молодой Ганчук, недавний конармеец, политотдельский поэт и оратор на солдатских митингах, с незабытым гимназическим рвением приобщался к науке, — игрушечные мудрецы тоже принимали участие в сражениях, наносили удары, громили, разоблачали, приказывали разоружиться.

Постепенно и заново Глебов вползал в ауру *большого дома*. Лифтеров в подъездах теперь не было. И жильцы как будто не те, что прежде: вид попроще и разговор не тот. Но в лифтах, однако, по-прежнему настаивались необычные запахи: шашлыков, чего-то рыбного, томатного, иногда дорогих папирос или собак. От собак Глебов отвык за годы войны. Собаки остались в детстве так же, как мороженое в круглых вафлях, купание на стрелке и всякая другая чепуха. В лифте ганчуковского подъезда он впервые за долгое время увидел вблизи собаку и внимательно ее разглядывал. Это была громадная желтоватая с чернотой упитанная овчарка, которая сидела скромно, с достоинством у задней стены лифта, под зеркалом, и не менее внимательно разглядывала Глебова.

Рядом с собакой, держа ее за поводок, стояла понурая старуха в платке.

Воспитанность и скромность громадной овчарки удивили Глебова, и в то же время в ее немигающих ореховых глазах ему почудилось спокойное превосходство: ведь она была жильцом этого дома, а он лишь гостем. Ему детской памяти. Он протянул руку, но собака, заворчав, дернула мордой и клацнула зубами. «Нельзя! Стоять смирно! — было написано на черной высокомерной морде. — То, что тебя пускают в этот дом и ты едешь в лифте, еще не значит, что ты тут свой». Глебов вышел на площадке девятого этажа в дурном расположении духа.

— В вашем лифте воняет псиной, — сказал он Соне. Бывали минуты, когда хотелось ее уколоть.

Он жил тогда тяжело, голодно, весело, жадно. Как многие. Вспомнить — истинная нищета. Не было лишней пары ботинок, ни рубашек, ни галстуков. И постоянно хотелось есть. Повсюду — в институте, в гостях — он ходил в старом армейском кителе не только потому, что не было подходящего — из всего довоенного вырос, а нового не купить, — но и потому, что не должны были забывать, что он *побывал там*. В последний год был призван, служил в БАО, частях аэродромного обслуживания. Дома

после смерти матери стало глухо. Отец пристрастился к вину. Баба Нила тянулась из последних сил, весь дом был на ней. Сейчас не понять, как все это крутилось, откуда бралось. Раз в неделю баба Нила, взяв кошелку, ехала трамваями на Даниловский рынок за зеленью, сухими грибами, щавелем, шиповником. А уж сколько чая из шиповника было пито! Сейчас этого пойла ни за какие деньги в рот не взять. А тогда баба Нила и на опохмелку норовила холодненького полезного чайку всучить: «Выпей, Димочка, *шипового*, полегчает...» Какая там польза! Да, наверное, была, как и от всей той жизни в дерюгинской глушине, в потемках, в длинной комнате, похожей на склеп. Потому что одолели, выжили. Баба Нила горбатилась все круче, ходила все тише, клонилась долу все ниже. Отец пропадал на свехурочных, за полторы ставки. Вот когда начались его хвори. Да ведь не замечалось ничего! Какие-то друзья, толкотня, бег, спех, по субботам на последние шиши в дешевую ресторацию или в бар на Серпуховке...

Когда приходил к Ганчукам, напускал на себя суровый, академический вид.

Вначале все делалось как бы на ощупь. Соня даже мешала. Хотела его оттащить от отца к своим разговорам, подругам, к ненужности.

И он тихо пугался. Неужели, думал, бедная Сонька на что-то рассчитывает? Ведь ни о каких ласках, кроме профессорских, в рамках учебной программы, он не грезил. Между тем у него утвердилось очень рано мнение Началось с той сорокалетней дамы в эвакуации. Ведь сперва казалось, что он нужен ей так же ненадолго, как она была необходима ему. Но потом разыгрались страсти, глупые угрозы. Господи, как он перетрухнул! И понял, надо быть начеку. Такие игры могут кончиться плохо. Он ощущал в себе — не без самодовольства — запасы некоей радиоактивности, жертвами которой становились женщины, впрочем, не все подряд, определенного склада. Особенно губительно он действовал на женщин интеллигентных профессий и старше себя. И молодые,

серьезные, не очень красивые, часто в очках, часто первые из учениц легко попадали под его чары.

И вот почему он несколько трепетал, когда замечал сияние в добрых бледно-голубых глазах Сони, слабую улыбку на полных бледных губах. Соня любила звать гостей. Приходили ее подруги по институту иностранных языков, блестящие и ярко одетые девочки, щебетуньи, хохотушки, модницы, фифы; некоторые из них сразу и болезненно его задевали. Но он сдерживал себя, зная, что на *таких* женщин его излучения не действуют.

Когда Глебов сделался секретарем семинара, он стал бывать у Ганчуков чуть ли не каждую неделю. Профессор был вздорен, забывчив и, честно сказать, бестолков. Иногда возникали нелепые разговоры. Стоял в пижаме в дверях и с изумлением округлял глаза: «Дорогой мой, я же просил в понедельник!» — «Да нет же, Николай Васильевич, в субботу...» — «Как я мог вам назначить в субботу, когда...»-«Но я помню совершенно точно!» Все это происходило на лестнице, Глебов нервничал, чувствовал себя глупо, вдруг коршуном налетала Соня: «Отец, как не стыдно держать человека в дверях! Ты с ума сошел!» В сущности, Ганчук всегда был рад приходу Глебова и тут же находил ему применение. Особенно расположился он к Глебову после того, как тот принес всю библиографию по теме, важной Ганчуку для его собственной работы, и сделанную необыкновенно быстро. Ганчук растрогался. Глебов не сказал, что работал ночами. Он вовсе не обязан был так надрываться, да вообще не обязан был составлять библиографию, но, как оказалось, сей подвиг вышел гениально полезным.

Была какая-то вечеринка у Сони. Сбор всех фиф, молодых людей разного горилку и закуску неведомо откуда. Кто-то из фиф привел своих знакомых, те привели своих. Благо профессорская гостиная позволяла рассадить полета людей. Теперь таких комнат нет и помине. Если только в некоторых кооперативах по индивидуальным проектам. Там были какие-то музыканты, какой-то шахматист, был поэт, гремевший на студенческих вечерах оглушительными жестяными стихами — в то время они

почему-то казались музыкой, — были, конечно, бесцветные, крикливые, робкие и наглые студиозусы.

Поэт свалился как снег на голову. Его никто тут не знал, кроме одного человека, который был шапочно знаком с одной из фиф и сам явился к Соне впервые. Поэт, едва войдя в гостиную и не поздоровавшись, спросил громко, подражая образцам: «Где тут нужник?» Раздались восхищенные полушепоты: «Поэт... Фраппирует... Никаких условностей...» Стихи, которыми он тогда трещал весь вечер, не запомнились, а вот про нужник... Ныне, спустя лет тридцать, поэт по-прежнему громыкает жестью, но это никому не кажется музыкой. Жесть и жесть, ничего больше. Кто-то из студиозусов, взбурлив клавишами, завел кликушым, пронзительным криком:

Виницианский мавр Отелло
Один домишко посещал...

Хор радостно грянул:

Шекспир! Заметил! Это! Дело!
И водевильчик накропал...

Эта чепухенция тогда безумно нравилась. Орали до хрипоты, до слез в глазах. «Девчонку звали Дездемона, лицом что белая луна, на генеральские погоны, да и эх, польстилася она». Ну что в этой чуши было зажигательного, отчего сердце дрожало, хотелось наслаждаться и передавать свою радость другим? Впрочем, на ганчуковских застольях вокруг добро улыбавшейся бледной и безмолвной Сони звучало и иное. Приходил Николай Васильевич, выпивал с молодежью свою рюмку водки, настоящей на лимонных корочках, садилась и Юлия Михайловна, Сониная мать, и под дирижерский взмах вилкой старика пели дружно «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед» или же «Там, вдали, за рекой».

Соня могла в молчании сидеть часами, слушая других с полуоткрытым ртом по причине неудаленных полипов.

Глебову однажды пришло в голову, что она будет для кого-то отличной женой, самой замечательной женой на свете. Такая уйма превосходнейших качеств. Вплоть до молчаливости с полуоткрытым ртом. Он подумал об этом рассеянно и вчуже, безо всякой связи с собой. Что-то вроде такой догадки: «А ведь Соня была бы отличной женой для Левки!» Да, он носился одно время с этой идеей, полагая, что Соня может действительно оказать благое влияние на оболтуса Левку, а тот немного успокоит, смирит голубое сияние Сониных глаз, так тревожившее Глебова. Ведь он ничем, решительно ничем не мог на него ответить! У него ни разу не возникало желания в темном уголке потискать Соню, что бывало с другими девушками, даже с теми, кто приходил к Соне в гости, например с ее подружкой по инязу, такой темноглазой, плотненькой — как же ее звали? Имя забылось, зато твердо отпечаталось в памяти ощущение плотных плеч, секундная вороватая ласка в потемках гардеробной, среди мягких шуб...

Было так: с одними трусил и чопорно каменел, с другими как-то вдруг и непонятно отчего наглед, распускался, становясь на себя не похожим. Ту плотненькую отличил сразу, тоже из какого-то Дерюгинского переулка. А Соня была закрыта наглухо. С нею не надо было ни напрягаться, ни распускать себя.

Не волновала вовсе. Потом наступило время, когда он этого хотел. И потом наконец Соня стала волновать, но, пока он этого достиг, прошло, наверно, два года.

На вечеринке с поэтом — тогда-то забрезжило начало — было чересчур много вина, народ перепился, хозяйева напугались. Мужчины выходили на лестницу курить. Был там парень, имя, разумеется, исчезло, он больше не появлялся на сцене, лохматый развинченный губошлеп в очках, в галстучке, какой-то очень здоровый. Имел вид штангиста. И он тонким голосом в мужском кругу курильщиков на площадке спросил: — Хлопцы, я что-то не пойму, а кто хозяйку фалуует? Вот эту самую Сонечку?

На тогдашнем жаргоне «фалует» значило примерно то же, что сегодня значит «кадрит». То есть попросту интересовался, не вакантно ли место. Тон был грубо неуместен, всех покорило. Пожимали плечами. Вдруг один из студиозусов кивнул на Глебова.

— Вроде вот товарищ Дима...

— Я? — удивился Глебов. — Для меня новость.

Стало неприятно: замечают то, о чем сам не догадывается. Чего и в помине нет. Значит, все-таки есть? Зачем-то рассказал, что учился с Соней в школе. Тот парень сказал: — А зря, хлопцы! В такие терема мырнуть... — Он мигнул на раскрытую дверь в квартиру. — За это не одобряю... И сама ничего. А что? Ничего...

Такая тургеневская...

— Молчи, скот, — сказал кто-то.

Парень обиделся, бросил окурок и ушел в квартиру.

Он всем не понравился.

— Кто эту морду привел?

— А черт его знает. Вроде он из Литературного...

— Давайте его излупим!

Согласились. Один пошел в дом вызывать того обратно, на площадку.

Вернулся не сразу и сказал, что парень догадался, что хотят бить, и идти отказался. Ну ладно, излупим позже. От нас не уйдет. Особенно хорохорился шахматист. Все были сильно «под банкой». Ас Глебовым произошло вот что: он внезапно и странным образом протрезвел. Его протрезвила мысль, высказанная в идиотской форме тем парнем. «Да ведь он не дурак, — подумал Глебов. — Мы все дураки!» И тем сильнее захотелось того излупить, ну, если не излупить, то просто вышвырнуть отсюда подальше. «Мырнуть желает... Ишь ты, мырля!» Злобными шагами Глебов прошел в гостиную.

Излупить очкастого не удалось по глупой причине: через полчаса тот был мертвецки пьян. В половине первого гости прощались, надеясь успеть на метро.

Все разошлись, но очкастого нельзя было не то что поставить на ноги, но даже сдвинуть с дивана, где он отвратительно развалился, выставив на обозрение латки своих жалких студенческих брючонок, задранную кверху фуфайку и в просвете между фуфайкой и брючным ремнем серую голизну живота с пупом. Руки он закинул за голову, голова свешивалась с диванного валика, и при этом он ужасно храпел. Как выяснилось, человек, который его привел, давно ушел со своей фифой, Сониной подругой. Никто не знал даже, как его зовут. Ганчуки были в растерянности. Домработница Васена советовала послать за милицией.

Юлия Михайловна со своим неизжитым за тридцать лет немецким простоумием предложила поставить рядом со спящим стакан воды с содой и таблетку как почнет искать, шкафы колотить среди ночи...» А старик Николай Васильевич все порывало» старым гусарским способом — оттереть за уши. Но Соня встала на защиту пьяного обормота и велела его не трогать.

— Неужели вам его не жаль? Посмотрите, какое хорошенькое личико, какая милая бульдожья челюсть...

Глебов решительно предложил: он останется здесь же на всякий случай. В гостиной на раскладушке. А тот пусть спит на диване, только башмаки с него снять.

И так Глебов остался ночью в квартире Сони и долго не мог заснуть, потому что стал думать о Соне совсем иначе. Просто так: не спалось и он думал. Задремывал, видел краткие мутные сны, просыпался и снова думал.

Ничего не случилось, Соня спала в своей комнате за крепко запертой дверью, пьяница не шевелился, и, однако, с Глебовым в ту ночь что-то стряслось — утром он встал другим человеком. Он понял, что может полюбить Соню. Это чувство еще не явилось, но было где-то в пути, близилось, как теплый воздух, волною плывущий с юга.

Погода еще не изменилась, но люди с больными сосудами чувствуют приближение. На рассвете, часу в шестом, обормот заворочался, сполз с дивана и начал, как и предполагала Васена, колобродить по комнате, бормоча и икая. Глебов оттащил его в прихожую, нахлобучил кепку и пытался вытурить. Тот не давался, они ругались шепотом.

— Куда ты меня толкаешь, ирод? Мне же некуда идти, дура ты непонятливая...

— Откуда пришел, туда и при.

— Откуда я пришел? Можешь ты понять, что писал Достоевский Федор Михайлович... Когда человеку пойти некуда...

В те времена были такие полунищие студенты, ведшие почти уличный образ жизни: постоянно их исключали, отлучали, они мотались по приятелям из общежития в общежитие, ночевали на вокзалах. На «терема», из которых его изгоняли, он смотрел с тоской. Глебов уговаривал его, наверное, полчаса и выпер, после чего вернулся в гостиную и лег на койку. Через час Соня прошла мимо него в халате. Он увидел бледные худые ноги с нежными щиколотками.

Потом она еще раз заглянула в комнату и спросила: — А тот человек?

— Я ему сделал выкиньштейн. — Глебов двинул коленкой, изображая удар под зад.

Он чувствовал себя героем, защитником слабых. Но Соня неожиданно рассердилась.

— Кто тебя просил? Он не хотел уходить?

— Не хотел. Я с ним толкался в прихожей целый час...

— И прогнал? Какая гадость, Димка, как тебе не совестно! Прогнать голодного. Может, ему идти некуда...

— Некуда. Потому что шпана.

— Я не знаю, что такое шпана.

— А я знаю. Я живу среди шпаны. Дерюгинский переулок — кругом шпана.

Но Соня покачала головой, глядя на него каким-то новым, недоверчивым взглядом. Ушла к себе в комнату, недовольная. Глебов не знал, что ему делать. Уйти, что ли? Недовольство Сони его удивило. Потом, узнав ее лучше, он понял, что главная черта в этом характере — болезненная и безотборная жалость к другим. Ко всем подряд, ко встречным и поперечным. Это было временами докучливо и даже мучительно, но потом он привык и перестал обращать внимание. Первой ее реакцией на всякое столкновение с жизнью, с людьми было пожалеть. И потом уж он над ней издевался: «Мне так жаль его, бедного хулигана, который избил на трамвайной остановке трех человек...

Представляешь, как у него на душе...» Соня сама ощущала нелепость своего характера и сама от него страдала.

Когда сели завтракать вдвоем за круглый столик на кухне, удобно поставленный у окна, она была смущена и оправдывалась за свою резкость утром: «Если бы хоть чаем его угостить...» — «Ничего, — сказал Глебов. — И так будет хорош». Он посматривал вниз, на гигантскую излучку моста, по которому бежали машины и полз трамвайчик, на противоположный берег со стеной, дворцами, елями, куполами — все было изумительно картинно и выглядело как-то особенно свежо и ясно с такой высоты, — думал о том, что в его жизни, по-видимому, начинается новое...

Каждый день за завтраком видеть дворцы с птичьего полета! И жалеть всех людей, всех без исключения, которые бегут муравьишками по бетонной дуге там внизу! Все это было продолжением полуяви-полубреда ночных мыслей. Он сказал: — Знаешь что? Ты лучше меня жалеяй.

— А я жалею. — Она погладила его по щеке. — Ты какой-то неприкаянный...

И он стал бывать у Ганчуков чуть ли не каждый день. То приходил к профессору, то к Соне. Профессор раньше говорил ему «голубчик» и «Вадим Александрович», а теперь стал звать его Димой. Приглашал с собой на вечернее прогулки. Когда он надевал каракулеву шапку, влезал в белые, обшитые кожей шоколадного цвета бурки и в длиннополую шубу, подбитую лисьим мехом, он становился похож на купца из пьес Островского. Но этот купец, неторопливо, размеренными шажками гулявший по вечерней пустынной набережной, рассказывал о польском походе, о разнице между казачьей рубкой и офицерской, о беспощадной борьбе с мелкобуржуазной стихией и анархистствующими элементами, а также рассуждал о теоретической путанице Луначарского, заблуждениях Покровского, колебаниях Горького, ошибках Алексея Толстого: со всеми Николай Васильевич был знаком, пил чай, бывал у них на дачах. И обо всех, даже таких знаменитых, как Горький, говорил хотя и почтительно, но с оттенком тайного превосходства, как человек, обладающий каким-то дополнительным знанием.

«Если бы Алексей Максимович до конца понимал...» — говорил он. Или же: «Я как-то объяснил Алексею Николаевичу...» Глебов слушал Ганчука с большим вниманием. Все было интересно и важно.

Иногда Николай Васильевич ошеломлял Глебова поразительными заявлениями.

Например, рассказывая о своей даче в Брускове и связанными с нею хлопотами (асфальтировку дороги безбожно затягивал поселковый Совет), он закончил неожиданно: «Через пять лет каждый советский человек будет иметь дачу».

Глебов удивился, но возражать не стал.

Были вечера лютого, двадцатипятиградусного мороза, когда умные люди предпочитали сидеть дома, но Николай Васильевич ровно в девять закутывался шарфом, надвигал до бровей шапку, облачался в свои купеческие меха и спрашивал требовательно: «Вы идете со мной?» Как не хотелось идти на мороз!

Пробежаться задними дворами к себе в переулок — это одно, но гулять по обледенелой набережной... Глебов отвечал с обреченной готовностью: «Конечно, конечно! Я готов». Дрожал и ежился в студенческом пальтеце, перешитом из размеренными шажками рядом со стариком, который сладостно сипел и отдувался в своей душегрейной шубе. «Вот ведь какой самопуп! — иногда раздражался Глебов. — Ему и в голову не придет...» Было и другое соображение: а может, уводит из дома нарочно, чтобы не оставался с Соней?

Впрочем, еще догадку подкинула Васена. Хитрая, все подмечавшая баба однажды спросила сочувственно: «И чего он тебя таскает? Я чай, он тебя вроде как на стражу берет...» — «Я у него под стражей или он у меня?» — спросил Глебов. Васена шептала: «Уж не знаю, но только таких-то, в шубах, не любят...» Бывало, собиралась на прогулку и Соня, присоединялся Куно Иванович, или Куник, человек, близкий Ганчукам, помощник Николая Васильевича по его работе в академии. Этот Куник жил у Ганчуков почти как родственник. Глебов заметил, Николай Васильевич не очень охотно брал с собой Соню, а на Куно Ивановича, если тот увязывался, вовсе не обращал внимания. Дело, кажется, объяснялось просто: в присутствии одного Глебова Николай Васильевич воспламенялся красноречием, рассказывал и вспоминал, не умолкая, а когда рядом была Соня, он скучнел и замыкался. Она могла сказать строго: «Папа, помолчи! Тебе нельзя разговаривать на морозе». Или: «Папа, ты повторяешься».

А Юлия Михайловна не любила улиц, автомобилей, ветра, морозов. У нее была стенокардия. Она часто болела, не ездила на занятия — Юлия Михайловна преподавала немецкий язык в том же институте, где учился Глебов и где Николай Васильевич руководил кафедрой. Хотя она прожила в России не одно десятилетие, Юлия Михайловна оставалась в чем-то шершавой, негибкой немкой и по-русски говорила с заметным акцентом. Ее отец погиб во время Гамбургского восстания. У Юлии Михайловны сохранились связи с некоторыми уцелевшими от невзгод

стариками антифашистами, немцами, австрийцами, которые изредка появлялись у Ганчуков, Куно Иванович был из этой среды. Его мать, умершая до войны, была старинной, по Венскому университету, подругой Юлии Михайловны, и Ганчуки с давних лет опекали Куника, которого знали мальчишкой. Куник, Куник, Куник, Куник, Куник! Какая-то собачья кличка. Такая маленькая, капризная, с умненькими глазками комнатная собачонка.

— Куника надо покормить! — говорила Соня.

— Попросите Куника... Звякните Кунику... Надо послать Куника за билетами, но очень деликатно...

Он был худ, сутуловат, голову держал немного книзу и набок, будто постоянно к чему-то прислушивался, хотя никогда ни к чему не прислушивался и даже часто не слышал, когда к нему обращались. То и дело встряхивал своей косенькой головкой — страдал тиком, что ли? — откидывая назад длинные блекло-рыжие немецкие волосы. Глебов вначале думал, что он золотушный.

Вообще Куник Глебову не нравился. Он был какой-то очень молчаливый, неприветливый, болезненный и себе на уме. Жил Куник одиноко. Ганчуки вечно беспокоились о нем: не заболел ли? Не нужно ли ему чего? Почему-то считалось, что он всегда нуждается в помощи и что он несчастен. Впрочем, было написано на скорби ном ссохшемся личике и неизменно сжатым ртом: «Я несчастен!» А в чем, собственно, ваше несчастье? — Однажды за ужином Глебов завел осторожный разговор о статье Куника, появившейся в журнале. Он давно слышал о том, что статья в работе, что редакция требует поправок, что Куник упорствует, проявляет невиданную принципиальность, что в борьбе с редакцией достиг каких-то высших инстанций и все-таки статью пробил. Рассказывалось как о крупном событии в научном мире. Особенно суетилась вокруг этого события Юлия Михайловна. Глебов, прочитав, увидел, что статейка вполне среднего качества и абсолютно ничем не выдающаяся, кроме того, что по неуловимым признакам видно, что русский язык для автора не родной. Какая-то

общая задушенность, бессочность слов. Вот на эту тему он и заговорил за ужином: о том, что, к сожалению, историко-литературные работы часто пишутся языком, далеким от литературы.

Николай Васильевич поддержал, было много наговорено, и потом уж, далеко не сразу и очень мягко, Глебов привел два-три примера из статьи Куника. Примеры были в самом деле разительные по непониманию стиля и духа языка.

Николай Васильевич смеялся, Соня улыбалась, но Юлия Михайловна сухо заметила, что «такую злую критику надо говорить в глаза». Глебов объяснил, что ничего злого в его замечаниях нет, но Юлия Михайловна возразила: — Неправда, Дима, не хитрите. Вы же не сказали, как относитесь к статье Куно Ивановича в целом?

Глебов, пожимая плечами, бормотал: — Как отношусь? Честно сказать... Не то чтобы в Восторге, но и не...

— О! Значит, я права! — Юлия Михайловна горделиво и воинственно подняла палец. — А позвольте спросить...

Но Соня прервала мать: почему Глебов не имеет права на собственное мнение, отличное от мнения семьи Ганчуков? Почему сразу бросаться в атаку?

Николай Васильевич заметил, что мнение семьи Ганчуков вовсе не однозначно. А Юлия Михайловна сказала, что бросаться в атаку — привилегия Николая Васильевича, бывшего конармейца, она же не любительница размахивать шашкой.

— Однако ты размахиваешь, — сказала Соня. — И порой очень сильно.

Глебов был уж не рад, что затеял разговор. Эта хрупкая и на вид чрезвычайно слабая, хворая Юлия Михайловна с тонкими ручками, пергаментно-белым лицом была, надо сказать, необыкновенно упряма. Могла спорить и настаивать на своем *bis zum Schluss*, вплоть до

сердечного приступа. Она заговорила о том, что всякая критика должна быть в первую очередь объективной, оценивать в целом, а потом уж выискивать блох. Куник написал великолепнейшую статью. Мелкие замечания должны идти петитом. Он написал о главном: какую опасность представляет мелкобуржуазная стихия. Как раз теперь, после победы, после громадного напряжения, когда людям хочется расслабиться и отдохнуть, могут вспыхивать мелкобуржуазные эмоции, заторможенные в сознании. Нельзя эту опасность недооценивать.

Ничего подобного Глебов в статье Куника не прочитал. Он осмелился робко возразить: — Простите, Юлия Михайловна, но, если я сделал два замечания по языку, еще не значит, что я недооцениваю мелкобуржуазную опасность.

— Вот именно! — сказал Николай Васильевич и пристукнул кулаком по столу. Он все немного сводил на шутку, — Одно из другого не вытекает, черт возьми.

— Нет, вы недооцениваете буржуазную опасность, — сказала Юлия Михайловна, не желавшая шутить.

— Да где вы это видите, Юлия Михайловна?

— Я вам скажу. Хотите откровенно? Я давно замечаю за вами, Дима... — И тут она понесла такой немислимый и ошеломляющий вздор, что Глебов онемел от осматривает их квартиру, на кухне его интересовали холодильник под окном и дверь грузового лифта. Однажды он подробно расспрашивал ее о даче в Брускове, сколько там комнат, есть ли водопровод, сколько соток участка, как будто собирался покупать...

— Мама! О чем ты? — испуганно восклицала Соня.

— Я говорю о таком, что замечаю в сегодняшней молодежи, — сказала упрямая и уже начинавшая задыхаться от своей принципиальности сердечница. — И это касается не только Димы. Как раз к Диме я отношусь хорошо, никак не желаю его обидеть. Ты не бойся, у нас останутся лучшие отношения. Но я вижу у многих: такая страсть к вещам, к удобствам и имуществу, к тому, что

немцы называют *das Gut*, а русские — добро... Зачем? Что вам далась эта квартира? — Она поднимала плечи и оглядывала комнату брезгливо, почти с отвращением. — Вы думаете, в вашей комнатке в деревянном домике вы не можете трудиться? Не можете быть счастливым?

— Но ты почему-то не уезжаешь отсюда в деревянный домик, — сказала Соня.

— Зачем я должна? Мне абсолютно все равно, где я живу, в большом дворце или в деревянной избе, если живу по своему внутреннему распорядку...

Юлия Михайловна была права, ее отношения с Глебовым не ухудшились после этих странных обличений, Глебов решил не обижаться. Он догадался, в чем дело: мать Сони питала особую симпатию к Кунику, кажется, видела в нем идеального зятя, но Соня была по этому поводу другого мнения. Сам того не зная, Глебов наступил на больное.

Он чувствовал не без некоторого потаенного самодовольства, что раздражение Юлии Михайловны, ее шипки и наскоки говорят лишь о том, что *на его стороне* обозначается перевес. Более загадочными показались рассуждения о мелкобуржуазных грехах. Ни одной секунды он не почувствовал себя в этом повинным. Полно, да всерьез ли говорилось? Не шутка ли, хорошо разыгранная?

Недаром сам Ганчук отмалчивался, ухмылялся. А как же лифт, отполированный под красное дерево, с зеркалом в человеческий рост? Ведь каждый день Юлия Михайловна не пешком ходила на девятый этаж, а ездила в этом лифте вверх-вниз, смотрела на себя в зеркало и дышала запахом дорогих папирос, расхаживали, правда, востроглазые лифтеры в форменных картузах, но все же сидела в ломаном кресле старуха в валенках и всякого входящего допрашивала застойным, желудочным голосом: «Вы в какую квартиру?» В Брускове был дом, безалаберный, почти развалившийся, с подгнившим крыльцом, с недостроенным вторым этажом, где окна были забиты фанерой, и все же этот дом с участком в

сорок соток, забором, соснами, диким виноградом вокруг веранды и огородиком был той ненавистной частной собственностью, тем самым *das Gut*, из чего, как лук из грядки, перло ядовитое дерево.

Весною, когда открывался дачный сезон, семейство Ганчуков выезжало в Брусково на так называемый дачный воскресник: все работали в саду, в доме, на огороде. Но как работали! Юлия Михайловна по причине общей болезненности только тормозилась беспомощно, досаждала другим бестолковыми указаниями, Соня была с ленцой и неумеха, а Николай Васильевич застревал в кабинете, пропадал среди старых книг и бумаг. Всю работу тащила древняя Васена, да еще помогал шофер Аникеев, работавший на ганчуковской «Победе» через день. Этот Аникеев, пожилой мрачноватый мужик, сам был когда-то, в довоенные времена, небольшим начальством, но погорел за что-то. Он все делал медленно, ходил не спеша, от тяжелой работы умело отлынивал, выбирал что полегче и ковырялся часами: мог полдня подвешивать абажур или приколачивать планку к забору.

Однажды, когда Глебов перевозил в тачке мусор в глубь двора — он с радостью предложил свою помощь Николаю Васильевичу, нетерпеливо любопытствуя, что там за дача, — Аникеев зашептал ему: «А пускай бабка сама потаскает! Насчет мусора-то не договаривались?» Принял его за наемного работягу...

Летом были разлука, Кубань, работа в глухих предгорных станицах и настоящая — нежданная — тоска по Соне. Тут-то он понял, что нешуточно.

Под Новый год, мягкой зимой, поехали студенческой оравой в Брусково, натопили дачу, устроили елку в саду с электрическими фонариками. Славно было... Тогда впервые в их компании появился Левка Шулепников, который пришел в институт год назад, но жил своей жизнью, неведомо где. «Я как киплингковский кот, — говорил он, — гуляю сам по себе». В Брусково он приехал с что появившемся в Москве и уже модном ансамбле «Березка». Был какой-то очень долгий спор. Орали,

вопили чуть ли не до драки. Все началось с Аструга, преподавателя языкознания, которого тогда шуганули с треском, но спор-то затеялся анекдотически: какого цвета кальсоны у Аструга? Подоплека была, разумеется, другая. Совершенно, совершенно другая! И не в бедном Аструге было дело. Он, кстати, был из окружения Ганчука. Но и это в тот день не имело значения. Накопилось, как видно, какое-то вулканическое раздражение, томилось подспудно, скрытно от беглого глаза и вдруг прорвалось. Левка Шулепников был, как всегда, раздражителем, но по своему легкодумью не замечал этого. Ну и, конечно, много водки и никакой еды. Обычная студенческая кутерьма. Все это опустилось на голодуху, на усталость, на нервное ожесточение перед сессией и на то вулканическое, что клокотало глубоко внутри...

Был некий Черемисин, несимпатичный малый, он не числился у Глебова в друзьях, но прикатил вместе со всеми, потому что банда собралась пестрая — кто кидал в складчину, тот и хорош. Человек двадцать. Казалось так: дача большая да еще участок, гуляй хоть сто человек. А вышло: теснота и драка.

Этот Черемисин, когда заговорили об Аструге, рассказал такую байку. Будто бы на зачете тот спросил: «Что такое морфема?» Черемисин не знал. Аструг говорит: «Как вы можете знать язык, если не знаете, что такое морфема?» А Черемисин спрашивает: «А что такое *салазган*?» Аструг, конечно, пожимает плечами. Черемисин еще спрашивает: «А что такое *шурдыбурда*?» Тот и этого не знает. «Как же вы можете, профессор, знать язык, если таких простых слов не знаете? У нас их всякий старик и всякий ребенок понимает. *Салазган* — это значит, вроде как шпана. А *шурдыбурда* — это то, что у нас с вами получилось, бестолковщина». И тот засмеялся, рукой махнул и тройку поставил.

— Но вообще-то правильно, что его турнули, — докончил Черемисин. — Низкопоклонство в нем было. Он только виду не показывал, но было. Это точно.

Книжный язык он, может, и знал, но настоящий, народный — ни в зуб.

Одна девушка сказала: — Я не знаю, чего он там знал, чего не знал, но я очень рада, что его ногу положит, ногой качает, а брючина почему-то всегда у него задирается и белье видно голубое, в носок заправленное. Фу, гадость! — Девушка скорчила гримасу отвращения. — Прямо смотреть не могла, хоть глаза закрывай... И в голову ничего не идет...

Черемисин хохотал.

— Это верно. Точно, точно! Только не голубое, пардон, а белое. Голубого я что-то не помню...

— Вот пусть теперь дома сидит и ногой качает, — сказала девушка.

Начали раздражаться и свариться не только оттого, что перепились, но и оттого, что собрались в кучу не друзья, а с бору по сосенке. Сонины фифы, знакомые этих фиф — одно, глебовские приятели — другое, да еще явились какие-то непрошенные и случайные, вроде Черемисина. Все это гудело, вскипало, накалялось, тут же знакомились, пили на брудершафт, мгновенно становились лучшими друзьями, и мгновенно же возникала неприязнь, требовавшая выхода.

Споры велись яростно. Какие-то из Сониных подруг стали подшучивать над девушкой, говорившей об исподнем, Левка Шулепников грубо оборвал Черемисина: ты перед Астругом подхалимничал, а теперь глумишься, это, мол, недорого стоит. Левка вовсе не был таким уж принципиальным, и на судьбу Аструга ему было начхать — уж Глебов-то знал Шулепу до доньшка! — но, видно, тот парень как-то его задел, то ли развязностью, то ли еще чем-то. Ну да, он стал подъезжать к красавице из ансамбля «Березка». Зачем он это делал? Как выяснилось в споре, Левке назло. Он Левку ненавидел. И не он один. «Все наши ребята, — кричал, побелев от злости, скуластый Черемисин, — тебя ни в грош не ставят с твоими

машинами, с твоими папашами, мамашами! Ты для нас ноль!

— Тьфу!» И он для наглядности плюнул в сторону Левки. Может, и не по-настоящему плюнул, но сделал вид, что плюнул. Красавица Стелла вскрикнула. Левка полез через стол драться. Его удержали. Но стало ясно, что большая драка будет. Черемисин был с двумя дружками из общежития. Глебов их знал хорошо, один парень, совсем недурной и смирный, из глебовской группы, но все были так страшно пьяны! Часов до двух ночи, пока сидели за столом, еще как-то держались, но потом, когда загрели стульями, стали выкарабкиваться, разбрелись по комнатам, на второй этаж, выскакивали во по комнатам, по полу, ломая стулья, с криками женщин, со звоном стекла...

Глебов, ощущая себя в некотором роде хозяином, пытался разнимать, но делал это не слишком решительно, за что пострадал: кто-то локтем засветил в глаз, вздулся здоровенный фингал. А бедному Левке сделали нос набок. И он долго, с полгода, наверное, ходил с таким носом. Говорят, героически вела себя красавица Стелла, обороняя своего кавалера, сняла туфлю и лупила нападающих каблуком, норовя попасть по очкам. Протори и травмы обнаружили не наутро — потому что на рассвете все, кто был на ногах, поспешно, стыдясь друг друга, побежали на электричку и Глебов почти никого не застал за завтраком, — а дня через три, когда собрались в институте на консультацию для очередного экзамена.

Но тогда, в Брускове, когда все исчезли и Глебов с Соней остались вдвоем, наступило что-то очень важное. Мороза не было, сыпался тихий снег.

Они вышли с лопатами и разгребали дорожку, стояли сумерки, весь день был сумеречный, рано зажгли огонь. Несколько часов они возились, приводя дом в порядок, устали невероятно — Соня торопилась убрать, потому что боялась, что приедут родители, — потом сидели на кухне и пили чай из глиняных чашек.

Родители не приехали. Чашки были тяжелые, шоколадного цвета, и чай необыкновенно вкусный. Эти

глиняные чашки запомнились навсегда. И был какой-то час, когда Соня ушла на соседнюю дачу отнести посуду, а он был наверху, в мансарде, самой теплой комнатке во всей даче, окно в сад было открыто, пахло снегом, елью, откуда-то тянуло запахом горелого лапника, и он лежал на диване, старомодном, с валиками и кистями, закинув руки за голову, смотрел на потолок, обшитый вагонкой, потемневшей от времени, на стены мансарды с торчащим между досками войлоком, с какими-то фотографиями, с маленькой старинной гравюрой под стеклом, изображавшей сцену из русско-турецкой войны, и вдруг — приливом всей крови, до головокружения — почувствовал, что все это может стать его домом. И, может быть, уже теперь — еще никто не догадывается, а он знает — все эти пожелтевшие доски с сучками, войлок, фотографии, скрипящая рама окна, крыша, заваленная снегом, *принадлежат ему!* Была такая сладкая, полумертвая от усталости, от хмеля, от всего истома...

Захотелось немедленно что-то найти, хотя бы глоток хотя бы старого пива. Он спустился вниз, искал повсюду, ничего не нашел. Падал неслышно снег. Когда вернулась Соня, он почувствовал внезапный напор сил. Сонины глаза блестели, щеки были влажными от снега. Он целовал холодные губы, холодные пальцы, бормотал, что не может жить без нее, его охватило настоящее желание, какого никогда раньше не было с Соней, и он обрадовался. Соня заплакала и сказала: «Зачем мы потеряли целый день?» Хотя было рано, часов семь вечера, они постелили в мансарде на диване, погасили свет и бросились нагие друг к другу, не желая ждать ни секунды. Прошло немного времени, вдруг внизу раздался стук в дверь. Стучали со стороны крыльца, потом стали барабанить в дверь на веранде. Наверное, кто-то из ребят вернулся догуливать. Стучали очень упорно, было слышно, как люди, двое или трое, ходят по снегу вокруг дачи, разговаривают и советуются. Кто-то кричал: «Вадим! Отворяй, змей!» И женский голос: «Сонечка, это мы!» Еще крикнули весело: «Эй, что вы ночью будете делать?» Засмеялись. Глебов не понял по голосам кто. Соня хотела пойти вниз и открыть, но Глебов не пустил: «Лежи тихо!» Он обнимал худое,

покорное, мягкое, худые плечи, худую спину, в этом теле не было никакой тяжести, но оно принадлежало ему — вот что он чувствовал, — принадлежало ему вместе со всем со старым домом, елями, снегом; и он целовал его, обнимал, делал с ним что хотел, но старался делать бесшумно, а внизу потолкались, погудели, выругались и ушли.

В ту ночь на даче возникла невыносимая жара. Он не знал, как обращаться с котлом, забросил слишком много угля и устроил такое пекло, что не могли спать. Все окна на даче были настезь, но это не помогало. Была еще и теплынь на воле, настоящая оттепель, с уханьем сползал подтаявший снег с крыши, и непрерывно что-то сочилось, капало, тренькало под окном. Глебов и Соня сбросили одеяло, лежали голые на простыне, стонали от духоты и разговаривали еле слышно. Они уже совсем не стыдились друг друга. Соня спрашивала: «Когда ты меня полюбил?» Глебов был в затруднении. Он действительно не мог ответить с точностью. Кажется, это случилось совсем недавно, но сказать так он не решился.

Он ответил: — Какая разница? Важно, что это произошло...

— Конечно! — шептала она, счастливая. — Я спросила просто потому, что я-то очень хорошо помню... А ты мог забыть...

— А ты, — спросил он, — когда?

И узнал удивительное: оказывается, еще в шестом классе. Когда он пришел первый раз к ней домой вместе с рыжим Яриком и Антошей Овчинниковым и рассказывал про очень умную кошку, которую нашел на улице больную, а потом кошка по утрам провожала его в школу до набережной. Они пошли посмотреть кошку к Глебову домой. Глебов ничего этого не помнил.

— И еще, — сказала Соня, — помню порыв любви к тебе... Это было на секунду, но остро, болезненно и как-то сладко, я помню отчетливо... Ты пришел в коричневой курточке вот с таким поясом, она была не новая, но ты в

ней никогда не ходил, поэтому я заметила. Вообще я за тобой внимательно наблюдала. И вот, когда ты стоял у окна, я увидела на курточке сзади большую, аккуратно поставленную заплату, наверное, с тетрадный лист. Ты не представляешь, как я тебя полюбила в ту секунду!

Он был задет. За что же тут полюбить?

Но не выказал задетости, лишь пробормотал: — Это бабушка умела гениально ставить заплаты...

Соня спросила с пылким интересом: — Ах, это бабушка? А я почему-то думала, что твоя мама такая рукодельница.

Глебов замечал потом часто, что Соня горячо интересуется совершеннейшими пустяками из его детства, из жизни с отцом, матерью, расспрашивает о странных, ненужных подробностях его прошлого. Порыв любви к нему, вызванный заплатой на курточке, вылился в сокровенную мечту: раздобыть где-нибудь деньги и купить ему новую курточку с запиской: «От неизвестного друга». И было еще необыкновенно сильное впечатление, связанное с ним: ужас и любовь, слившиеся в одну секунду вместе. Это когда увидела его из окна на своем балконе. Химиус за оградой, над пропастью. А у Глебова такое застывшее, полумертвое лицо. Как будто он уже там, внизу, на тротуаре. Ох, это было страшное мгновение! Помнит ли он? Еще бы, конечно, помнит. Детское безумие — на всю жизнь.

— Ну и еще какие-то мелкие страдания, — сказала Соня. — Например, когда ты увлекся этой дурой Тamarой Мищенко...

Тут уж он хохотал. Какой Тamarой Мищенко? Той толстой, огромной, похожей на клумбу с цветами? Они веселились. Их тела были мокрые от духоты, и они вытирали друг друга полотенцем.

На другой день — было, кажется, воскресенье — приехали Сонины родители с Васеной. Глебов боялся, что непременно догадаются о том, что случилось с их дочкой, и приготовился к худшему. Ему казалось, что тут не нужно

особой прозорливости. Но Соня держалась настолько естественно и хладнокровно, так радостно их встретила, так любовно и внимательно за ними ухаживала, что Глебов был втайне изумлен, а родители ничего не поняли. Впрочем, они были все-таки лопухи. Тут-то и объяснение. Замороженные своими делами, добрые, порядочные лопухи. Причем одного сорта оба.

А Васена с ее острым глазом? И она проморгала. Потом-то догадалась первая.

Николай Васильевич был в тот день не в духе, мрачноват и вовсе ничего не замечал. За обедом царила какая-то общая тяготица. Глебов подумал: уж не его ли присутствие мешает разговору? Шепнул Соне: уехать? Соня замотала головой.

— Ни в коем случае! Он чем-то расстроен. Ты здесь ни сном ни духом.

После обеда пошли с Соней гулять. А вечером старик, поспав часика два, отмяк, разговорился и объяснил, что расстроен как раз историей с Астругом.

Вчера они с Юлией Михайловной не смогли приехать потому, что вдруг напросились в гости Аструги, Борис Львович с женой. Не принять их было никак нельзя. Они убиты, раздавлены, на Новый год никуда не пошли, как можно их не пригласить? Аструг рассказал подробности. Ведь Николай Васильевич не присутствовал на Ученом совете, где был устроен разгром и, по сути, определен весь дальнейший сюжет.

— Понимаете, Дима, какая пакость: я был в командировке! — говорил Ганчук, обращаясь к Глебову и все более горячась, в то время как Юлия Михайловна жестами, мимикой и досадливыми междометиями пыталась заставить его говорить спокойней и лучше бы помолчать вовсе. — Три с половиной недели, вы же помните, я был в Праге, занимался архивами, и они, воспользовавшись моим отсутствием...

— Папа, зачем им было нужно твое отсутствие? — спросила Соня.

— Как зачем? Смешно! Если б я там был, я бы выступил очень резко.

— То, что им нужно, — сказала Юлия Михайловна.

— Ах, оставь, пожалуйста! Ты не понимаешь.

— Нет, понимаю. Это ты не понимаешь, потому что бываешь там редко, а я хожу каждый день. Они были бы очень не против, если б ты влез в это дело.

— Но я и так влезу! — рявкнул Ганчук.

— Теперь уже нет смысла. Абсолютно sinnlos.

— Посмотрим!

Он опять помрачнел, надулся, встал из-за стола, за которым пили чай, и ушел в свой кабинетик. Соня и Глебов поднялись по скрипучей лесенке в мансарду. Затворив дверь и не зажигая света, Соня бросилась к Глебову, стала целовать его, шепча: — Как мне жаль Аструга! Бедный, бедный, бедный, бедный мой Аструг... — каждое «бедный» сопровождалось поцелуем.

— Мне тоже, — шептал он, целуя нежную впадину над ключицей, — тоже очень жаль его...

— Я просто не могу выразить... Как мне жаль Аструга...

— И мне...

Она сжимала Глебова слабыми руками изо всех сил. Он гладил ее спину, лопатки, бедра, все, что теперь принадлежало ему. Было слышно, как внизу разговаривают и гремят посудой Васена и Юлия Михайловна. Потом Юлия Михайловна позвала: — Со-ня!

И Соня вдруг отшатнулась от Глебова и прошептала: — Мы дурачимся, а я вправду его жалею... Я не вру» ты не думай... Если он придет, ты познакомишься с ним ближе...

Глебов думал: это зачем? Снизу звали уже сердито: — Соня, в чем дело?

Поцеловав Глебова, она побежала, стуча каблучками, по лестнице вниз.

Глебов, все еще не зажигая света, подошел к окну и ударом ладони растворил.

Лесной холод и тьма опахнули его. Перед самым окном веяла хвоей тяжелая еловая ветвь с шапкой сырого — в потемках он едва светился — снега.

Глебов постоял у окна, подышал, подумал: «И эта ветвь — моя!» На другое утро за завтраком, когда уже приехав Аникеев на машине, чтобы забрать троих в Москву — Ганчук с Васеной оставался тут на несколько дней, — опять зашел разговор об Аструге. Юлия Михайловна спросила: — Ну хорошо, а вот вы, Дима, вы все время молчите, как оцениваете Бориса Львовича? Как преподавателя?

— Мне трудно сказать. Он читал у нас всего полгода. Спецкурс по Достоевскому...

— Вот именно то я хотела знать! — произнесла Юлия Михайловна с некоторым торжеством. — Неуверенности оценки говорит о многом. Всего полгода!

Да, полгода — это большой срок. Ганчук, ты всегда пристрастен к людям и любишь переоценить.

— Что я люблю переоценить?

— Ты любишь переоценить неприятности и несправедливости. Почему не должно быть *никакой* доли правды в критике Бориса? Разве он идеальный, безукоризненный человек, без недостатков? Я думаю, у него есть недостатки, и немаленькие. Я думаю, скорей, у него есть большие недостатки!

Когда Юлия Михайловна нервничала, становились заметны некоторые изъяны ее русской речи. Все было правильно, она не делала ни грамматических, ни лексических ошибок, но вдруг проскальзывала едва уловимая неточность.

Нервничая, она стала объяснять недостатки Аструга: не сумел понравиться, никакого впечатления за полгода.

Она сама преподает и твердо знает — может держать пари, — что завоюет молодежную аудиторию за два академических часа.

Больше ей не потребуется. И они будут бежать к ней домой, звонить по телефону и дарить цветы по праздникам. За два часа!

Говоря это, Юлия Михайловна подбоченивалась и смотрела на мужа и на Глебова несколько свысока. Но говорила, кстати, чистую правду. Студенты ее любили. Затем Юлия Михайловна намекнула еще на один недостаток Аструга: любит прихвастнуть, пощеголять знаниями. Вообще и в нем, и в его жене Вере — в ней особенно — мелькало иногда некое важничанье. Они были о себе высокого мнения. Ну чего бы, спрашивается, им важничать перед Ганчуком? Это выглядело смешно. Сейчас, конечно, их жаль. Без настоящей работы он может пропасть, зачахнуть. А она зачахнет без возможности *важничать*...

Соня слушала мать, улыбаясь мягко и сочувственно, как слушают детскую. Обращаясь к стоявшему в дверях Аникееву, который нетерпеливо звенел ключами, он сказал: — Иван Григорьевич, хоть вы не гордитесь! Сядьте с нами, хлебните чайку...

Но Юлия Михайловна решила все-таки поставить точку.

— Нет, друзья мои, надо смотреть шире, шире! То, что они мечтали избавиться от Ганчука, это факт. И то, что Борис, к сожалению, уязвим для критики и представляет собой хорошую мишень, тоже факт.

— Тем не менее я влезу в это дело, — быстро произнес Николай Васильевич. — И хватит об этом!

В машине ехали так: впереди рядом с Аникеевым сидела Юлия Михайловна, сзади сидели Глебов и Соня и покоился завернутый в скатерть тюк грязного белья. Юлия Михайловна непрерывно рассказывала об институтских делах, очень запутанных, о которых Ганчук не имел представления, а она разбиралась в них.

Директор не любит Ганчука — она всегда называла мужа в глаза и за глаза Ганчуком, — потому что Ганчук независим, ему нельзя приказать, он слишком большая величина, а заведующий учебной частью Дороднов, ничтожество, никогда не забудет, что Ганчук отказался поддержать его авантюру с докторской диссертацией. И не только это. У них старые счеты. Они мечтают сдвинуть Ганчука с должности завкафедрой, но попробуйте-ка! Не так просто. Старый коммунист, участник гражданской войны, автор ста восьмидесяти печатных трудов, переводы на восемь европейских и семь азиатских языков... А Борис Аструг, его ученик, очень удобный инструмент для... Глебов и Соня слушали Юлию Михайловну плохо. Они были заняты друг другом. Всю дорогу ласкали друг друга пальцами: он правой рукой, а она, сидевшая у окна, левой. Ему еще приходилось левой рукой придерживать тюк с бельем, норовивший при торможении свалиться на пол. Глебов видел, как у Сони рдеет щека, и слышал, что голос ее слегка дрожит, когда она произносит по временам: «Да, мама... Конечно, мама... Ты права...» — И все же, Сонечка, я бы хотела, чтоб Ганчук ушел из института. А? Как тебе кажется? — Юлия Михайловна неожиданно обернулась и будто увидела на лице Сони что-то ее поразившее. Она вновь повернулась спиной и замолчала.

Соня ей не ответила.

И, только когда подъехали к Москве, сказала: — Наверно, ты права, мама... Но папа ни за что не уйдет...

Та ночь на даче, когда все текло, когда ухал снег и нечем было дышать... Соня видела ее, сидя в машине. Глебов помнит ее и теперь, спустя двадцать пять лет, хотя было бы лучше забыть. Потом другие ночи, несмотря на январь, экзамены, сильнейший мороз, который вдруг грянул и затруднял передвижения. Они ездили в Брусково, потому что там никто не мешал и было *удобней готовиться к экзаменам*. Ехали электричкой, бежали промерзшим лесом, врывались в дачу, заледенелую, как погреб, но через два часа становилось тепло. Глебов все думал: неужели ее родители не догадываются о том, что

происходит? Ведь готовились к разным экзаменам и к разным срокам.

По существу, абсурд: мчаться за город, тратить два часа на дорогу и сидеть там по комнатам, зубрить разное. Родителям говорилось, что едут несколько человек. Но было невероятно не видеть, как изменилась Соня! Однако не видели, не замечали. Соня говорила твердо: ни о чем не догадываются.

И даже когда Соня завалила какой-то зачет и рассказывала об этом, смеясь — было необычно и то, что завалила, и то, что смеялась, рассказывая, — ни мать, ни отец не насторожились. В то, что Соня все равно сдаст и будет отличницей, они верили несокрушимо. Это было дано ей от природы, как бледный цвет лица. И тут они были правы. Они знали свою дочь хорошо. Она сдала даже те предметы, по которым успела кое-что почитать утром в день экзамена. Ведь студенты в сессию занимаются обыкновенно ночами, а Соня с Глебовым тратили ночи на другое. И вот Глебов-то наделал себе хвостов.

Но он считал, что то, что творилось с ним и с Соней в январе, было его главным экзаменом, неизмеримо главнее всего остального.

Первой прорезалась Васена — худобой и костистым желтым лицом старуха напоминала Глебову средневековые рисунки, изображавшие смерть с косой, — и вот она секанула Глебова, и правда, как косой. Однажды сказала Соне, он стоял близко и услышал, да и говорилось, чтоб услышал: — Твой-то приймак никогда ног не оботрет.» Всегда, как в трактир...

— О чем вы, Васена? — спросил Глебов, подходя. — И что значит — приймак?

— А я почему знаю... Говорится так... — проворчала Васена.

Соня, побледнев сильнее обычного, обняла старуху.

— Няня, милая, зачем ты так? Ведь ты добрая, я же знаю...

А в конце января Соня, взволнованная, сказала Глебову, что случилась беда: Юлия Михайловна неожиданно поехал с Аникеевым на дачу забрать какие-то вещи и обнаружила некоторые несомненные улики, оставленные ими по рассеянности или халатности — торопились на электричку. И что же? Мать, хотя и ругает отца за близорукость и простодушие, сама еще более простодушна и имеет привычку отталкивать от себя все огорчительное, делает это бессознательно, этаким домашний страус, и вот какой вывод она сделала: «Соня, я должна сообщить тебе неприятную вещь. На нашей даче ночевали чужие люди. Они ничего не взяли, не украли, просто пришли, чтоб ночевать». — «Что ты говоришь!» — испугалась Соня. «Да, это, к сожалению, так. Есть несимпатичные доказательства. Отцу говорить я не буду, чтоб не огорчать зря.

Ведь теперь уже ничем не поможешь».

Глебов, подумав, сказал: а если Юлия Михайловна все прекрасным образом сообразила и так иносказательно дает это понять? Ему не привиделось тут беды. Они вовсе не обязаны так уж свято хранить тайну. Ведь решили стать мужем и женой, это нерушимо, вопрос лишь времени — сейчас, через полгода, через год, какая разница?

И он думал так искренно, потому что казалось — твердо, окончательно и ничего другого не будет. Их близость делалась все тесней. Он не мог пробыть без нее дня. Теперь, когда прошло столько лет с той зимы, можно размыслить спокойно: что это было? Истинная любовь, созревшая естественно и долго, или же молодое телесное беснование, которое обрушилось внезапно, как ангина?

Было, пожалуй, второе. Слепое, бессмысленное, безоглядное и так не похожее на него, насколько он знал себя. Все дело заключалось в том, что и она оказалась совсем не похожей на ту, к какой он привык и с какой давно, годами смирился. Ее молчаливость, стеснительность, анемичность — все это было в прошлой,

далекой жизни. И только ее доброта и покорность остались с ней новой.

Я помню, как он меня мучил и как я, однако, любил его. Он звонил утром по телефону — отец и мать знали, что звонит он, и старались не снимать трубку, литому что я сердился, когда они это делали, — и я мчался сломя голову из любого места, где в ту секунду находился: из кухни, где доедал клейкую и в отвратительных комьях манную кашу, из ванной и даже из того места, откуда, услышав сквозь дверь звонок, вылетал с незастегнутыми штанами. «Да! — кричал я. — Это кто говорит?» Мне хотелось услышать его имя.

Он не называл себя, а всегда придумывал что-нибудь замечательно остроумное.

«Сэр, — говорил он, — я жду вас ровно в восемь пятнадцать под часами в среднем дворе, и извольте быть при шпаге. Я заколю вас, как зайца... Из вас выйдет превосходное жаркое, сэр!» — «А из вас, — кричал я, задыхаясь от счастливого хохота, — из вас, сэр, выйдет очень хорошая пожарская котлета! Вот именно, сэр! Такая зажаристая, в подскребочках, вкусненькая котлеточка, сэр!» Это было ужасно — я всегда ему подражал. В моей голове не рождалось ничего оригинального, а если и рождалось, то гораздо позже, чем нужно. Я прибежал на пять минут раньше и ждал его, изнывая от нетерпения. Не помню во всей своей долгой жизни потом, чтобы я ждал кого-нибудь с таким трепетом и мучительной боязнью подвоха, потому что Антон Овчинников, как и полагается истинному ученому и великому человеку, был невероятно рассеян, забывчив и непостоянен. Договорившись со мной, он мог тут же передоговориться с Моржом или с Химиусом, и я вдруг видел, как они спокойно идут другой стороной двора, направляясь к другим воротам и не обращая на меня никакого внимания.

Будто меня нет на свете! Будто он только что не звонил мне и заговорщицким тоном не требовал, чтоб я вышел к часам!

Когда это случилось впервые, я набросился на него в гневе: «Сэр, что это значит? Я жду тебя, как дурак, а ты идешь через те ворота?» Он посмотрел на меня, как мне показалось, с холодным презрением и произнес: «Милейший, разве мы договаривались, что я подойду именно к данному пункту? Я имел право пересечь двор каким угодно курсом и с какими угодно спутниками, а ваше дело следить за моим движением и при желании в точно указанный срок присоединиться...» Он выложил эту высокоумную ахинею сухим, ломлен, спорить с ним я не умел, злиться на него не мог. Понутив голову, я плелся за ними следом. Тощий Химиус и рыхлый толстяк Морж шагали по бокам приземистого Овчинникова — тот был, разумеется, без шапки, несмотря на мороз, льняные волосы трепыхались, он был в коротких штанах, в гетрах, голая белизна в просветах между гетрами и штанами отливала синюшностью, и прохожие оглядывались на него, ухмыляясь, — и он непрерывно что-то рассказывал, а Морж и Химиус слушали, разинув рты.

В ту зиму он увлекся палеонтологией, завел большие альбомы, где рисовал разных динозавров и птеродактилей, и без конца рассказывал о них все, что знал. И я не нашел ничего лучше, как увлечься тем же. Тоже завел альбом, тоже пытался рисовать, вернее, срисовывать, а точнее говоря, сводить при помощи папиросной бумаги из книг всяких допотопных страшилищ, но, так как получалось плохо, я безбожно портил книги, вырезая картинки. Вот бы с кем ему следовало вести беседу о ящерах, а он тратил энергию на просвещение Моржа и Химиуса, которые были, если уж говорить всю правду, в немалой степени оглоедями. Мы с Антоном называли *оглоедями* тех, кто ограничивал свои знания школьной программой, а *сверхоглоедями* именовали отличников.

Это была совсем пропащая публика, в основном девчонки, но попадались и мальчишки, двое или трое каких-то жалких сморчков. Впрочем, и *осьминогов* — так назывались благородные и чистые рыцари науки, кого интересовало все равно что, но непременно выходящее за рамки школьной премудрости — было не так уж много.

Ну, Антон Овчинников, ну, я, ну, может быть, еще одна или две персоны и единственная осьминожица среди девчонок — Соня Ганчук, которая изучала мистическую литературу, например рассказы Эдгара По. Кроме того, у Сониного отца была превосходнейшая библиотека — пожалуй, не хуже, чем у капитана Немо — и мы часто бегали к Соне, чтобы навести кое-какие научные справки.

Антону пришла в голову изумительная идея: создать ТОИВ, то есть Тайное общество испытания воли. Это случилось после того, как нас исколошматили в Дерюгинском переулке. Антон поправился, и мы решили пойти туда снова. Мы — это Антон, Химиус, Морж, Левка Шулепа и я. Но тут встал вопрос о Вадьке тайное общество? Когда-то давно он принес в школу белый батон, сидел на уроке, щипал мякиш и угощал желающих. А желающих было много! Кажется, пустяк: притащил батон, который всякий может купить в булочной за пятнадцать копеек. Но вот никто не догадался, а он догадался. И на перемене все просили у него кусочек и он всех оделял, как Христос. Впрочем, не всех.

Некоторым он не давал. Например, тем, кто приносил в школу бутерброды с сыром и колбасой, а ведь им, бедным, тоже хотелось батончика! Этот Вадька Батон долгое время занимал меня как личность немного загадочная. Почему-то многие хотели с ним дружить. Он был какой-то для всех подходящий. И такой, и этакий, и с теми, и с этими, и не злой, и не добрый, и не очень жадный, и не очень уж щедрый, и не то чтобы *осьминог*, и не совсем *оглоед*, и не трусливый, и не смельчак, и вроде бы не хитрец, и в то же время не простофиля. Он мог дружить с Левкой и с Манюней, хотя Левка и Манюня друг друга терпеть не могли. Был хорош с Антоном, ходил в гости к Химиусу и к Левке и ладил с дерюгинскими, которые нас ненавидели. Его друзьями были Антон Овчина и Минька Бык одновременно!

Вот и думали: как поступить с ним? Рассказать ли ему нашу тайну? Шулепа был горячий его защитник. Он говорил, что Батон никогда не предаст. Антон тоже склонялся к тому, чтобы Батона принять в ТОИВ, потому

что от него могла быть польза. Не помню всех споров и рассуждений, помню лишь, что тут была главная сласть: решать чью-то судьбу. Годится или не годится *для нас*. И, помню, судьба Вадьки Батона мучила меня особенно. Мне очень не хотелось, чтобы он был принят в тайное общество, но сказать об этом вслух и объяснить причины я не мог. Потому что была замешана женщина. Ну, конечно, в том-то и дело! Соня Ганчук была влюблена в этого невзрачного, неопределенного, не такого и не сякого Батона. Что она в нем находила? Уши торчком, пол-лица в веснушках, редкие зубы, и походка какая-то нескладная, развалистая. Волосы у него были темные, блестящие, зачесанные немного набок и такие гладкие, будто он только что вылез из речки и причесался. Я ничего не мог понять. Но было очевидно для всех: она краснела, разговаривая с ним, норовила остаться в классе, когда он дежурил, задавала ему глупые вопросы и смеялась, когда он пытался острить.

Кстати, он не умел острить. В его шутках было больше насмешки, чем остроумия. Он, например, любил поиздеваться над Яриком, отпускал по его адресу ехидные замечания. Ах, может, все это мне только мерещилось с досады!

Ведь и Ярик как-то льнул к нему и хотел с ним дружить...

Он был совершенно *никакой*, Вадик Батон. Но это, как я понял впоследствии, редкий дар: *быть никаким*. Люди, умеющие быть гениальнейшим образом никакими, продвигаются далеко. Вся суть в том, что те, кто имеет с ними дело, довоображают и дорисовывают на *никаком* фоне все, что им подсказывают их желания и их страхи. *Никакие* всегда везунчики. В жизни мне пришлось встретиться с двумя или тремя этой изумительной породы — Батон запомнился просто потому, что был первый, кому так наглядно везло за *никакие* заслуги, — и меня всегда поражала окрылявшая их милость судьбы.

Ведь и Вадька Батон стал в своей области важной шишкой. Не знаю точно какой, меня это не интересует. Но,

когда кто-то рассказал про него, я не удивился: так и должно быть! И сто лет назад, когда пятеро мальчишек решали жгучую проблему — посвящать или не посвящать его в свою тайну, — ему, конечно же, повезло. Решили посвятить и принять. Антон сказал, что война с дерюгинскими будет долгая, на изнурение и нужен свой человек в их стране. Однажды после уроков повели Вадьку Батона на задворки и все рассказали. А он уже что-то подозревал. И было видно, как он обрадовался, когда ему предложили вступить в ТОИВ. Но ответил он... О, это был замечательный ответ! Тогда мы не поняли по-настоящему, прошли годы, прошла жизнь, и, вспоминая, вдруг догадываешься: вот ведь сила никакого характера!

Он сказал, что рад вступить в ТОИВ, но хочет быть вправе когда угодно из него выйти. То есть хотел быть членом нашего общества и одновременно не быть им. Вдруг обнаружилась необыкновенная выгода такой позиции: он владел нашей тайной, не будучи полностью с нами. Когда мы сообразили это, было уже поздно. Мы оказались у него в руках. Помню, задумали новый поход в Дерюгинский переулочок и назначили день, но Батон сказал, что день не годится, надо перенести на неделю. Потом еще на неделю, еще на три дня, не объясняя причин, держась таинственно, и мы соглашались. Потому что он был наш, но не сегодня, но тогда без меня...» Мы стали бояться, что он предупредит Миньку Быка и вся затея с внезапным захватом переулочка рухнет. Чего мы хотели?

Просто пройти вверх и вниз Дерюгинским переулочком, где увечили и обирали ребят нашего дома. И, если нападут, дать отпор. Левка Шулепа обещал взять оружие: немецкий пугач, который бухал, как настоящий револьвер.

Наконец Батон сказал: такой-то день. Мы пошли часов в пять вечера.

Когда подошли к Дерюгинскому подворью, увидели на втором этаже в окне бледную рожу Батона, и он нас тоже увидел и махнул рукой. Мы прошли весь переулочок, на нас никто не напал. Черная собака не показывалась. Какие-то пацаны, катавшиеся на салазках и на досках с

горы посреди мостовой, не обращали на нас внимания. Мы постояли у одной подворотни, у другой, пираты не появлялись — ни Минька Бык, Ни Таранька, никто. Шулепа стрельнул в воздух, мы еще немного подождали и ушли. Все были разочарованы. Испытания воли не получилось. Ходили туда еще раза два, но так же безрезультатно. Что случилось? Куда они разбежались? Это так и осталось неизвестным, а может быть, забылось с течением лет. В памяти нет ничего, кроме ощущения досады и странного чувства: будто все это — для нашего неудовольствия и собственного покоя — подстроил Вадька Батон...

Потом были еще какие-то искусства, страхи, хождения куда-то ночью, в какие-то склепы. Подземные коридоры под нашей церквушкой. И балкон в Сониной квартире над пропастью. Вот этот балкон! И холод, смертный, сжимавший кисти рук! И Сонино лицо с белым, безумным взглядом! Нас осталось четверо. Батон до последней минуты не говорил ни да, ни нет. А толстый Морж с мучительным стыдом отказался — он страдал головокружениями. Предстояло определить квартиру. Химиус отпадал, так как его квартира была полна людей, уединиться на балконе невозможно. У Левки тоже околачивался народ: родственники, приживалки, и мать целыми днями сидела дома. Антон жил на первом этаже, я на третьем. Оставался бедный инвалид Морж. Он жил прекрасно: на восьмом этаже, с матерью, деловой женщиной, пропадавшей на службе с утра до вечера, и старой глухой домработницей, которую можно было запереть на кухне, дав ей для чтения «Пионерскую правду». Старушка любила читать «Пионерскую правду».

Но Морж вдруг воспротивился. Он вообще стал возражать против этого испытания, говоря, что это не испытание воли, а испытание здоровья. И тут я вспомнил о Соне. Честно говоря, я никогда не забывал о ней.

Соня жила на девятом этаже, а родители ее как раз в ту пору куда-то уехали. Дома осталась домработница, но та временами отлучалась, и Соня подолгу была дома одна. Девятый этаж. Это было, конечно, невероятно

притягательно. То, что нужно. Чем выше, тем лучше. Тем качественнее испытание. Это мы твердили друг другу, хотя от страха у нас сводило животы.

Единственное, что смущало Антона: в тайну посвящалась женщина. Ведь он был категорически против женщин. «Я даже матери не рассказал, а я ей все говорю».

Верно, мать Антона была в курсе всех его замыслов и работ. Бывало, позвонишь ей: «Что Антошка делает?» Она отвечает: «А он сейчас заканчивает третью часть палеонтологического альбома. Летающие ящеры. А итальянский альбом наполовину уже сделан, получилось очень удачно, особенно Везувий...» Боже, как мне хотелось, чтобы Соня присутствовала при испытании воли! И я сказал, что можно скрыть от нее главное, сказать, что нам, осьминогам, надо кое о чем секретно поговорить на балконе, а ее попросить побыть полчаса в кабинете. Если она даст честное слово осьминогов, что не выйдет из кабинета, она его не нарушит. Антон сопел, дулся, но дал согласие: «Ладно!»

Сонька, конечно, отличается от других девчонок хотя бы тем, что понимает Верди. Она даже марш из «Аиды» однажды напела, правда, не совсем точно». В его устах это было огромной похвалой. Человечество делилось на понимавших и не понимавших Верди, первые были — лучшие люди, вторые — темная толпа полужнаек. Был выбран день, и мы пришли к Соне. Не могу сказать, что шел к ней бодро и с большой охотой. Ноги мои слегка ослабели, и внутри них, в костях, как будто бегали какие-то мурашки. Да и у остальных членов тайного общества вид был не лучше. Чего мне страшно хотелось — чтобы Батон не пришел, чтобы струсил в последнюю минуту! Ведь он имел право. Он мог не прийти, и мы бы ничего ему не сказали. Но он пришел, черт бы его подрал.

Физиономия у него отливала зеленовато, как у покойника. А Химиус глупо посмеивался и не к месту пытался острить.

Реклю, затем внезапно Антон обратился к Соне: «Сонька, ты обязана сейчас же, сию минуту поклясться в

том...» Соня, пораженная таинственностью, заподозрила неладное. С тревогой стала выпытывать: что мы задумали? Почему непременно на балконе? Не хотим ли кого-нибудь сбросить с балкона вниз? Она не подозревала, как близка к истине. Этот «кто-нибудь» мог быть любой из нас. Когда я услышал полушутливые Сонины слова, я почувствовал, как на моих глазах от жалости к себе выступили слезы. Но этого никто не заметил.

Я сделал несколько шагов по комнате, чувствуя, что колени дрожат и ноги ступают нетвердо. Ноги меня ужасно вдруг напугали. С такими ногами нечего было и думать перелезть ограду балкона и переступить через прутья на высоте девяти этажей. Я украдкой поглядывал на других. Когда по очереди мы ходили в туалет, я заметил, что всех немного шатает. И только Антон Овчинников не ходил в туалет.

Как сел на стул, придя к Соне, так и сидел, не двигаясь, до нужной секунды: ни раньше, ни позже. Тяжелый, маленький, желтолицый, плечистый, со скулами, как у Будды. И, когда Соня ушла наконец в кабинет и поворотом ручки замкнула дверь — так он потребовал, — он поднялся первый и твердыми шагами направился в соседнюю, отгороженную портьерой комнату, откуда вела дверь на балкон. Мы прошли вслед за ним. Балкон был не заклеен и не заперт, хотя уже наступили морозы. Сонин отец по утрам занимался тут физкультурой. Как повсюду в доме, балкон был разделен решеткой надвое, другая его половина принадлежала соседям, и здесь скрывалась опасность. Каждую минуту кто-нибудь мог выйти из той двери на балкон и-о чудо! — нас спасти.

Но никто не выходил и ни малейшего признака жизни не замечалось за чужим окном. Я посматривал за решетку, на стоявшие у стены банки, кувшины и кастрюли, на занавеску стеклянной двери и думал: «Неужели вам не хочется, подлецам, выглянуть хоть на секунду? Ведь так просто перепрыгнуть решетку и ограбить вашу квартиру... Какое идиотское легкомыслие с вашей стороны...» Нет, соседи не собирались нас спасти. Мы были обречены испытывать меня колотились. Антон

подошел к левому краю балкона, который торцом упирался в бетонированную стену, и как раз над балконом находилось окно большой комнаты, где мы только что сидели с Соней. Антон потряс металлический поручень, тот был абсолютно прочен. Антон потряс его изо всей силы двумя руками. Все было в порядке. Я подумал: «Вероятно, мы сходим с ума». Но, если бы я захотел сейчас уйти, я бы не смог — ноги не повиновались мне. Внизу было все, как обычно, спокойно, тихо, снежно, черные тротуары, белый двор, крыши автомобилей, но недостижимо далеко. Попасть во двор внизу было, как на другую планету.

Туда можно было только упасть.

Антон перекинул одну ногу через ограду, затем вторую и медленно двинулся, держась за поручень и повернувшись к пропасти спиной, а к нам лицом, по краю балкона. Он ставил ноги между железными прутьями. Таким образом, двигаясь боком и очень медленно, он дошел до чужого балкона и повернул назад. При этом он что-то мурлыкал. Кажется, марш из «Аиды». Мы следовали за ним с другой стороны ограды, готовые в любое мгновение прийти на помощь. Интересно, что могли бы мы сделать? Вот он добрался до стены, поставил голое колено — он по-прежнему ходил в коротких штанах — на отлив подоконника и, перекатившись животом через поручень, свалился к нашим ногам.

Тотчас вслед за Антоном отправился Химиус, который не преминул щегольнуть, и, слегка откинувшись на вытянутых руках, поглядел вниз и сплюнул...

В тот же миг я увидел в окне, выходящем на торец балкона, застывшее, косое от ужаса лицо Сони.

Через секунду она выскочила на балкон. Ее рот открывался беззвучно, она уцепила Химиуса под мышками и стала тащить через ограду — он рассказывал, что тащила с нечеловеческой силой, — продолжая двигать открытым ртом и как будто кричать, но не было слышно. Химиус перевалился назад. Мы втолклись в комнату. Все были озябшие, грязные, испачканные в ржавчине, с

посиневшими лицами. Соня охватила Вадьку Батона за руку, не отпускала его, боясь, что он вырвется и прыгнет за решетку, и шептала, как заведенная: «Ой, дураки, дураки, дураки, дураки...» Батон недовольно хмурился. У него был такой вид, точно его обидели, отняли у него что-то. Потом я узнал, как было дело. Он не советовал поглядеть на занятное зрелище. Несчастный хвостун. Но он спас Левку Шулепу, себя и меня. Он спас, он спас! Ноги мои были совсем ни к черту. Эти люди, которые не трусы и не смельчаки, не то и не это, иногда спасают других, у кого слишком много всего. Я возненавидел его еще сильнее.

Он ворчал на Сою и говорил ей что-то злобное. Потом она потеряла сознание, мы перепугались, звонили врачу...

А что было дальше? О, дальше, дальше и совсем далеко? Дом опустел. Мои друзья разъехались и исчезли кто где. Морж, который так страдал оттого, что не мог участвовать в испытании воли — он не мог пройти даже по обыкновенному бревну в гимнастическом зале, — исчез куда-то раньше всех. Чуть ли не в ту же зиму. И вообще мы торопились напрасно. Испытания обрушились очень скоро, их не надо было придумывать. Они повалили на нас густым, тяжелым дождем, одних прибили к земле, других вымочили и выморили до костей, а некоторые задохнулись в этом потоке.

Но я помню вот что: мать Антона сидит у нас дома, и отец Химиуса, и кто-то еще, и все разговаривают, запершись в столовой, а мне и Антону не велено присутствовать. Однако мы подслушиваем. Некоторые голоса слышны хорошо, особенно когда там говорят сердито. Я слышу, как мой отец громко и сердито говорит: «Послушайте, а вы обращались к врачу?» И голос матери Антона: «Зачем?» — «Может быть, ваш сын не совсем нормален психически». Мать Антона засмеялась: «Мой сын? Какой вздор! Мой сын совершенно, совершенно нормален!» Тут все заговорили гулом, а мать Антона продолжала смеяться.

Той зимой, когда на даче в Брускове разгоралась глебовская любовь, в его доме в Дерюгинском сгущалась комом безысходность, какая сопутствует всякой жизни на излете. Жизнь глебовской семьи была на излете: баба Нила едва ходила и по дому все делала через силу, отец после смерти матери постарел, согнулся, какая-то болезнь съедала его, да к тому же стал попивать. Все шло к развалу, к концу. Глебов не любил бывать дома. Отец не вызывал его жалости, ибо этот бестолковый неряшливый старик не находил мужества принять конец достойно, еще надеялся на что-то, лукавил и хитрил с жизнью, мечтая выманить напоследок какие-нибудь подачки. Выманил тетю Полю: помогала бабе Ниле и как-то тихо, спроста заняла место на диване, где прежде спала мать. А куда ей было податься? Ведь дядя Володя после севера оставил ее, уехал в Ташкент с новой семьей. Глебов махнул на них рукой. Пускай как хотят! Грудь его теснило, кровь стучала в висках от предчувствия перемен в своей судьбе...

Но у тети Поли была дочь Клавдия, которой все это не нравилось. Она не хотела простить ни матери, ни глебовскому отцу. Тети Полин сын Юрка, старше Глебова на два года, погиб на войне, а у Клавдии была семья, ребенок, она жила хорошо и должна была бы радоваться за мать, что та не одинока и живет с бабкой, облегчая ей старость, но Клавдия возненавидела мать. Приходя в Дерюгинский, она подчеркивала, что приходит лишь навестить бабу Нилу. С родной матерью почти не разговаривала, а с отцом Глебова была суха, насмешлива.

Клавдия была в дядю Володю: крупная, мосластая, некрасивая. Почему-то считалось, что она хороший человек. Такая же легенда, как то, что тетя Поля красавица. Глебова задевал насмешливый тон, каким Клавдия разговаривала с отцом, отчего тот терялся, а тетя Поля нервничала, суетилась и говорила чепуху, и вообще Глебов с некоторой досадой ощущал в Клавдии иную структуру, что-то чужеродное — неприятную жесткость.

Однажды сказала Глебову: — Удивляюсь на тебя: и как ты спокойно все кушаешь? Характер у тебя все-таки уникальный.

— Чем же? — спросил Глебов.

— Вот этой всеядностью. Или, может, равнодушием потрясающим.

Глебов усмехнулся.

— А что я должен делать? Я взрослый человек, они взрослые люди... — Он смотрел в недоброе, язвительно кривящееся лицо кузины и думал: лучше быть равнодушным, чем злым. Вслух сказал: — Я им зла не желаю.

— Боже мой, да кто им желает зла? Я, например, просто страдаю, для меня пытка, а тебе ничего... Вот и удивительно...

— А мне другое удивительно: как ты можешь до такой степени мать родную невзлюбить? Откуда эта беспощадность?

Клавдия закрыл а лицо руками, ушла.

Потом как-то призналась Глебову: рада бы смягчиться и мать простить, да сил нет. Потому что из-за нее всей семье горе. Это ведь еще до войны началось. И в эвакуации тянулось. Оттого все и раздергалось в лоскуты: дядя Володя не захотел с Полиной жить, а глебовская мать надорвала сердце. Глебов ничего этого как-то не заметил или, вернее сказать, не понял. Клавдия, рассказав, разрыдалась внезапно и стала ругать себя, говоря, что она дурной человек, что не смела всего этого говорить Глебову, и просила у него прощения.

— Теперь ты меня-то хоть можешь понять? — говорила она, то плача, то хватая Глебова за руку. — Да, я злая, подлая, не имела права тебе говорить...

Кто меня за язык тянул, сволочь?

Глебов был поражен, но сказал спокойно: — Ну что ж? Я догадывался. Я тетю Полю не виню.

— А я виню, — шептала Клавдия и голову опустила на стол. — Я виню, виню, виню... Она меня и матери лишила, и отца.

Глебов молчал, обдумывая. Конечно, открытие было болезненное, но ведь все худшее уже случилось и он ощутил лишь, как окрепло желание порвать скорее и начать все по-своему.

Соня стала бывать у него в доме. Ей хотелось познакомиться со всеми его родными, она всех любила заранее. Но Глебова терзали эти визиты. Она видела жалкость отца, слышала пустые, заискивающие разговоры, наблюдала скудость, тесноту — когда-то, в школьные времена, все это нисколько его не смущало, приятели ходили к нему наперебой, но теперь собственный дом все более становился в тягость, — и особенно он боялся Сониного недоумения: кто такая теть Поля?

Однажды Соня явилась, когда все были дома и даже Клавдия зашла проведать бабу Нилу, принесла с рынка овощей. Был конец мая, жарко. Глебов познакомил Соню с Клавдией и поскорей потащил в свою клетушку, теперь, слава богу, хорошо изолированную от комнаты, где жили баба Нила и отец и где ночевала на диване, когда приходила *помочь по дому*, теть Поля. Через полчаса позвали пить чай. Глебов шел с неохотой, но Соня рвалась к новым знакомствам: на этот раз к Клавдии и ее четырехлетней Светочке, очень заинтересовавшей Соню. Они мгновенно понравились друг другу, Соня и Светочка, и стали щебетать и играть во что-то, отключившись от остальной что бывало редко — Клавдия избегала вести сварливые разговоры в этом доме.

На этот раз затеялось как-то внезапно, Клавдия не могла сдержаться. Причиной спора была как раз маленькая Светочка, которую надлежало скорей вывозить за город.

С неудовольствием глядя на пришедшую в разгар спора Соню, Клавдия говорила резким, бранчливым голосом: — Нет, ты ответь твердо: поедешь со Светкой

или нет? Если нет, тогда я стану договариваться с Колиной теткой, но не хотелось бы, она человек нездоровый...

Тетя Поля говорила, что сняли дачу неудобно, далеко, а ей надо три раза в неделю ездить в Москву за работой. Она работала тогда для артели, плела какие-то сети для машин. И еще: как бабу Нилу оставить без помощи? Клавдия рассердилась.

— На бабу Нилу не кивай! Мы ее с собой заберем на дачу. Ей там еще лучше будет.

— Да куда ты бабку потащишь? С ума сошла!

— А здесь ей хорошо, что ли?

— Врачи нужны, дура! Поликлиника! Ты об няньке думаешь, а не о бабке. А она свое отнянчила.

Баба Нила возражала, говоря, что совсем еще не плоха. Тетя Поля корила: зачем в детсад не захотели отдать? Детсад на дачу поедет. На Клавдиной фабрике сад, говорят, очень хороший.

— Кто говорит? Тебе бы только с рук сбить, бабка называется! — разъярилась Клавдия. — Господи, сколько раз зарекалась к ней обращаться...

Отец забубнил что-то. Понять, что он там жевал беззубым ртом, было нельзя. Женщины бранились, хоть не грубо, не ругательски, но как-то невыносимо занудливо и безнадежно, главное, совершенно не стесняясь Сони.

Клавдия обличала мать в эгоизме, говорила, что о девчонке не думают, заняты собой, и что же делать? И ехать не с кем, и залог пропал. Конечно, кабы знала, в детсад бы устроила, теперь поздно. Тетя Поля сказала: — А потому, что с матерью не разговариваешь. Все молчком, молчком, как зверюга. Что я тебе плохого сделала? — тетя Поля заплакала.

Соня вдруг сказала: — А хотите, я вам предложу нашу дачу? Там есть сторожка летняя, очень удобная, с электричеством и с водой. Хочешь, Светочка, ко мне на дачу?

— Хочу! — закричала девочка, прыгая.

На слова Сони никто внимания не обратил, точно их не слышали.

Продолжали браниться. Отец рукою махал.

— Не волнуйся, поедет она, никуда не денется.

Тетя Поля, плача, головой мотала.

— Не могу я в такую даль... И не хочу с ней, она меня знать не желает...

Соня шепнула Глебову: — Скажи про Брусково... Это вполне реально...

Клавдия вдруг обернулась к Соне.

— Девушка, не путайтесь в наши дела, пожалуйста. Спасибо за предложение, но дача ваша нам не по карману и вообще не подходит.

— Грубо! — сказал Глебов. — Пойдем, Соня.

Они вернулись в глебовскую комнату, сели на кушетку, застеленную байковым одеялом. Глебов замкнул дверь и включил настенную, в бумажном колпачке лампу над изголовьем. Сколько вечеров и ночей провел он под этой лампой, валяясь на кушетке, читая, мечтая! Он привалился плечами и затылком к дощатой стене — одна из его излюбленных сибаритских поз, что удостоверялось сальным следом головы на обоях, — а Соня села рядом, забравшись глубоко во впадину старой кушетки, прижавшись к нему, положив голову ему на грудь, и он обнимал ее левой рукой, а правой поглаживал бедро в шуршащем чулке. Над чулком была полоска голой кожи. За деревянной перегородкой продолжался тягучий спор. Было слышно каждое слово. Глебов боялся, что Клавдия скажет что-нибудь ужасное, непоправимое, чего Соня не должна знать. Он гладил ладонью принадлежащую ему и совершенно доступную полоску прохладной кожи и говорил о том, что его двоюродная сестра чванлива, невоспитанна, окончила всего семь классов и техникум и что ему с нею не о чем говорить. Она работает мастером

на трикотажной фабрике, а Коля, ее муж, там же наладчиком.

— А я эту женщину пожалела... Она такая ожесточившаяся, смотреть больно... — сказала Соня. — И тетю твою мне жаль, она хорошая, по-моему, красивая... И девочка, чудная, но слабенькая... Всех мне жаль, всех, всех!

Это плохо, да? Это не нужно?

— Нет, почему же? Это хорошо. И нужно, — сказал Глебов, продолжая поглаживать кожу над чулком, и, чтоб ладони было удобней, отстегнул застежку руку за пальцы и прижала к губам. Голоса за перегородкой не умолкали, от этого было тихое раздражение, и все же поверх всего он испытывал громадную покойную радость: оттого, что женщина была покорна. И, главное, женщина необыкновенная. Об этом он догадывался и это внушал себе, приказывая своей ладони получать наслаждение от поглаживания бедра необыкновенной женщины, которая целиком принадлежала ему.

Прошло лето. Наступил последний для Глебова пятый курс. И вот что случилось осенью — было уже холодно, чуть ли не снег, вероятно, ноябрь, — когда Глебов изо всей мочи гнал диплом.

Попросили зайти в учебную часть. Там был такой Друзяев, недавно назначенный, Глебов знал его мало. Расспрашивал о дипломе, что да как.

Глебов писал о русской журналистике восьмидесятых годов. Тема неохватная, тонул в материалах, цитатах, в тысячах газетных страниц.

Друзяев расспрашивал со знанием дела. И даже стишок редкий прочитал на память: «Победоносцев для Синода, Обедоносцев при дворе...» А может, нарочно к разговору подготовил? Глебов с удивлением поглядывал на усталого рыхлолицего человека со следами сердечной недужности и, как это часто бывает у сердечников, с какой-то вялой, таимой печалью в глазах и думал: зачем было слать курьера в аудиторию и требовать, чтоб срочно,

немедленно? Друзьяев был в офицерском кителе, в брюках от штатского костюма, под брюками сапоги, постоянно скрипевшие. В нем была какая-то мешанина. Казенный скрип и китель никак не вязались с печалью в глазах и с разговорами о либеральных редакторах, с полукрамольным подмигиванием по поводу Суворина: «Да ведь Алексей Сергеич был, между нами говоря, мужик огого! Громадный талант!» Но об одном, разговаривая, Глебов помнил неотвязно: еще недавно Друзьяев был военным прокурором и только год назад демобилизовался. В комнату заглянул аспирант Ширейко. Просунул черную очкастую голову будто на секунду, но, увидев Глебова, решил почему-то зайти. Пришел к столу и сел легко, развязно, как дома. Глебов тогда еще прозрел: эге! Ширейко в ту пору бурно возрастал, еще будучи аспирантом. На глебовском курсе читал спецкурс по Горькому, заменив Аструга. Друзьяев спросил:

— Ваш научный руководитель Николай Васильевич Ганчук?

Как в детской игре «горячо — холодно», Глебов почуял вдруг, что тут-то и есть «тепло». Друзьяев не сказал «Ганчук», что прозвучало бы сухо и неприязненно, и не сказал «Николай Васильевич», что было естественней всего, если уж не дружески-фамильярное и привычное «Никвас», он избрал четкую, официальную формулу «Николай Васильевич Ганчук», как при вручении премии или траурном объявлении. Оно было и уважительно и чем-то неуловимо отделяло названный авторитет от некого целого. С руководителем полный контакт?

Никаких проблем? Глебов подтвердил и это. Друзьяев совсем иным и, как показалось, *прокурорским* взглядом сверлил Глебова, его недружность точно вмиг смыло, он выпрямился и как-то поширил в своем кителе.

— Понимаете, Глебов, дело тут щекотливое... Зачем я вас пригласил? Только, прошу, антр ну, как говорят французы. Юрий Северьяныч в курсе наших забот, — Друзьяев кивнул на Ширейко, который слушал внимательно, со строгим лицом. — Так что его

присутствие пусть не удивляет. Мы все тут немного смущены. Вы знаете, что Николай Васильевич Ганчук включил вас в предварительный список дипломников, которые будут рекомендованы в аспирантуру? Не знаете? Для вас новость? К тому же приятная, а? Кроме того, он ваш научный руководитель. И еще, кроме того, вы его, так сказать, будущий, как это называется, зять, что ли? Вы извините, разведка донесла. А я, как военный человек, привык разведанным доверять...

Друзяев опять как-то обмяк, расслабился и даже улыбнулся. Но улыбка была обращена не к Глебову, а к аспиранту Ширейко. Глебов промычал и мотнул головой неопределенно, что все же означало: данных разведки он не отрицает.

— Видите ли, Глебов, — продолжал Друзяев, — мы не против вашей аспирантуры и не против того, чтобы Ганчук был вашим руководителем в дипломной работе. И мы, конечно, совсем не против того, чтобы вы породнились с профессором. Мы также никогда не возражали против того — я тут человек новый, но мне товарищи рассказали, что этот вопрос ни разу не поднимался, — чтобы супруга Ганчука, Юлия Михайловна Брюс, работала у нас на кафедре языков, руководила группой.

Понимаете, в чем штука: все в отдельности превосходно, а все вместе — перебор.

— Не очень-то ароматный душок! — твердо произнес аспирант Ширейко и добавил: — С точки зрения моралитэ.

Глебов спросил: и что же? Какие предложения? Держался даже слегка вызывающе, потому что понял: цель — не он. Те стали объяснять, что говорить со стариком трудно, он привык быть вне критики, старые товарищи вести переговоры отказываются, но надо же как-то дать понять. Иначе будет поздно!

Слух дойдет до инстанций. Не согласится ли Глебов спокойно, по-родственному поговорить с Ганчуком и

обрисовать ситуацию? Пусть Ганчук сам подберет руководителя для глебовского диплома. Пусть даст заявление. С указанием какой угодно причины. Все это чепуха и формальность. Вот и все тайны мадридского двора. Итак? Согласен ли товарищ Глебов помочь в первую очередь самому себе?

Глебову дело показалось чрезвычайно простым и ясным, и он сказал, что согласен. И с этого дня началась морока, та, что запутала, заморочила и истерзала его вконец.

Если бы знать, куда дело загнется! Но Глебов всегда был в чем-то туг и недальновиден. Сложные ходы, которые потом обнаружались, были для него тайной за семью печатями. Впрочем, никто ничего предвидеть не мог. И Друзяев, так смело и хитроумно затеявший этот дальний подкоп под крепость, огороженную мощной стеной, не догадывался, что ровно через два года он, вышибленный отовсюду и сраженный инсультом, будет сидеть в кресле у окна во двор и, тряся скрюченными руками, мыком объяснять жене, что хотел бы закурить сигарету. А еще через год, будучи аспирантом, Глебов прочтет в газете маленькие объявления: «...с глубоким прискорбием... после тяжелой и продолжительной...» Как рассказывали, на похоронах Друзяева присутствовали человек восемь, все были возбуждены недавно прошедшими другими похоронами, дело происходило в марте, но даже и не в том суть: Друзяев исчез стремительно, как и возник. А возник он как будто только затем, чтобы выполнить какую-то бысролетную миссию. Налетел, выполнил и исчез. Глебову казалось в первые часы, когда он обдумывал предложение Друзяева, что оно вызвано озабоченностью о его, Глебова, успешном завершении диплома. Какова человека, готового подписать работу, которая будет проделана Николаем Васильевичем как руководителем. Чистая *формальность*, они боятся *формальных* неприятностей.

Он решил, что на следующий день вечером, когда пойдет к Соне, поговорит с Ганчуком. Единственное, что смущало и о чем он не подумал сразу: как объяснить

старику то, о чем так грубо и напрямиком ляпнул Друзьяев? Хотя между ними все было решено, родителям ничего еще открыто не сказали. Намечалась несообразность: объявлять Ганчуку о столь серьезном решении одновременно и в связи с предложением Друзьяева было как-то глупо, да и в любом виде начинать такой разговор — Глебов вдруг почувствовал — было бестактностью. Это значило подгонять события, которые обязаны были развиваться плавно, своим ходом.

Лучше всего оттянуть, замотать всю эту историю. Авось забудут или же дело сделается как-то само собой. Любимый принцип: пустишь на «само собой».

На другой день он к Соне не пошел, на второй и на третий тоже. Вовсе не преднамеренно, находились причины, заботы, он кое-что делал тогда для заработка, вплоть до самого низменного — колки дров на пару с приятелем по деревянным замоскворецким закутам, а в ту пору, накануне зимы, был разгар таких работенок, — но подспудно руководило желание оттянуть неприятное, авось минует. Не миновало! Ширейко после семинара спросил: «Говорили?» Глебов сделал вид, что не понял: «С кем?» — «Да с вашим руководителем диплома. С будущим тестем». — «Ах да! Нет еще. Пока не говорил. Не было случая». — «Вы уж найдите случай, пожалуйста, — сказал Ширейко холодно. — Нам надо куда-то вас записывать, туда или сюда».

И черт его знает, что этот аспирант себе позволял! Глебов встревожился, поняв, что настроение какое-то чересчур неуступчивое и «само собой» не пройдет. Звонила Соня. Что случилось? Куда пропал? Он объяснил как есть: зарабатывал деньги. Она взволновалась: «Ты не очень надрывался? Ты не заболел?» Вечером Глебов пришел к ней и все рассказал про Друзьяева и Ширейко. Ничего глупее придумать было нельзя. На какую помощь он рассчитывал? Она растерялась, замкнулась, твердила одно: — Как хочешь, как считаешь нужным...

И тогда он впервые заметил тот ее взгляд — полный изумления.

— Может, мне не надо было тебе говорить? — спросил он.

— Может, и не надо было. — И опять рассматривала его, улыбаясь и с изумлением. — Тут западня. На твоём месте я бы им ответила, знаешь, как?

— Как?

— Я бы сказала: послушайте, ведь это ужасно неделикатно! Вы не находите, что это неделикатно?

— Я пытался их вразумить, — соврал он.

— Откуда стало известно? Почему об этом говорят? — Голос ее дрожал, на глазах появились слезы. Он порывнулся обнять ее, но она легко и гибко, необычным для себя кокетливым движением отстранилась от его руки. — А то, что случилось с нами, касается только нас двоих.

— Честно, я был обескуражен... Я объяснял, — бормотал Глебов, продолжая врать, — о том, что бестактность...

— Ты объяснял? Сказал, что досужие вымыслы? — Соня вновь улыбнулась. — Я говорю, тут замечательная западня! Нет, Дима, все это кошмар. Не надо впутывать в наши отношения отца. У мамы тоже сейчас неприятности: ее вызывал Дороднов и сказал, что ей надо сдавать экзамены. Чтобы получить диплом советского вуза и иметь право преподавать. У нее диплом Венского университета. Она двадцать лет преподает. Смешно, правда? — Соня взяла его за руку. — Дима, я хочу тебе сказать: ты абсолютно свободен. Делай так, как тебе нужно. И, ради бога, никаких насильственных поступков... Ты понимаешь меня?

Он угрюмо кивнул. За ужином Юлия Михайловна, крайне возбужденная, рассказывала о разговоре с Дородновым. О том, как Дороднов был учтив и любезен, как складывал губы сердечком, называл ее «милая Юлия-Михайловна» и вообще изображал дело так, будто сам он не имеет к этой интриге никакого отношения. Будто некие

люди, бюрократы, лица и имени не имеющие, требуют соблюдения формальностей. Опять формальности! Дороднов сокрушался, извинялся. Но, когда Юлия Михайловна заметила, что хотя Сима, другая преподавательница, законспектировала всю подряд «Диалектику природы» Энгельса, она все равно знает немецкий много хуже, чем Юлия Михайловна, и руками всплеснул: «Юлия Михайловна, неужто вы отрицаете тот факт, что язык — явление классовое?» Юлия Михайловна смеялась, рассказывая. Ганчук тоже то смеялся, то хмурил брови. Ни о чем другом, кроме этой анекдотической новости насчет сдачи экзаменов, за столом не говорили. Было много шума, предположений, догадок, смеха, Юлия Михайловна обнаружила актерский дар и комично пародировала Дороднова, Куник рассказывал о каких-то историях, случившихся в академическом институте, сестра Юлии Михайловны Эльфрида Михайловна, тетя Элли, как называла ее Соня, совсем непохожая на сестру, полная, самоуверенная дама, крашеная блондинка, громко и возмущенно обличала бюрократизм. Эльфрида Михайловна была журналисткой, работала на радио. Она напонила слова Ленина о том, что борьба с бюрократизмом потребует десятилетий. Что для успеха этой борьбы нужна поголовная грамотность, поголовная культурность. И что бюрократизм, конечно, есть проявление мелкобуржуазной стихии, о чем забывать нельзя. В присутствии Ганчука тетя Элли говорила поучительным, категорическим тоном, как будто профессором была она, а не он. Вообще эта женщина была Глебову несимпатична, может быть, потому, что — он чувствовал — и он был чем-то несимпатичен ей. Он платил людям той же монетой. В ней был снобизм. Она иногда не замечала его приветствий или же едва кивала с подлым высокомерием. В ее манере было перебивать его за столом. А что уж так зазнаваться? Неудачная публицистка, липовая международница. Его не примиряло с тетей Элли даже то, что та считалась семейным героем: две недели работала корреспондентом в Барселоне во время войны. Потом за что-то отозвали. Вероятно, за глупость. Тетя Элли спросила: «Интересно, какого

происхождения этот ваш Дороднов? Готова держать пари, что не пролетарского».

Юлия Михайловна сказала, что про Дороднова не знает, но про Друзьева известно точно: он сын мельника. «Voilà! Прикрываются марксистскими фразами, а попробуй их поскреби...» Но Ганчук сказал, чтоб не обольщались: Дороднов неплохого происхождения. Он из семьи железнодорожника. Все не так просто, дорогие мои. «А ты не ошибаешься?» — упорствовала тетя Элли. К концу ужина все немного успокоились, смехотворность эпизода с Дородновым была исчерпана, и Юлия Михайловна с тетей Элли сели за пианино и играли в четыре руки.

Ганчук с Куником ушли в кабинет работать.

И все-таки Соня была совсем другая! Она все видела иначе, не так, как родные. И втихомолку подшучивала над ними. Вдруг сообщила Глебову шепотом: «А знаешь, кем был отец моей мамы и тети Элли? Сыном венского банкира, правда, разорившегося...» Кажется, она одна замечала смешное в том, что смеялись над Дородновым, и в ее улыбке была грусть.

Поздно, когда выходил из Сониной комнаты, шел через темную столовую, он увидел, как сестры — одна хрупкая, тонконогая, другая полная, задастая, с маленькой головкой, как баба на чайник — стояли, обнявшись и покрывшись одной шалью, у окна, смотрели на россыпь огней внизу и что-то пели негромко, покачиваясь, очень красиво.

И еще помню, как уезжали из того дома на набережной. Дождливый октябрь, запах нафталина и пыли, коридор завален связками книг, узлами, чемоданами, мешками, свертками. Надо сносить всю эту *хурду-мурду* с пятого этажа вниз.

Ребята пришли помогать. Какой-то человек спрашивает у лифтера: «Это чья такая *хурда-мурда*?» Лифтер отвечает: «Да это с пятого». Он не называет

фамилии, не кивает на меня, хотя я стою рядом, он знает меня прекрасно, просто так: «С пятого». — «А куда их?» — «Да кто знает. Вроде, говорят, куда-то к заставе». И опять мог бы спросить у меня, я бы ему ответил, но не спрашивает. Я для него уже как бы не существую. Те, кто уезжает из этого дома, перестают существовать. Меня гнетет стыд. Мне кажется, стыдно выворачивать перед всеми, на улице, жалкие внутренности нашей жизни! Мебель в громадной квартире казенная, она вся остается. Пианино мы продали год назад. Ковры тоже продали. Но я так привык к этим столам, стульям с жестяными инвентарными номерами, к тяжелым квадратным креслам и диванам, обитым шершавой тканью с запахом дезинфекции! К дверям с матовым зернистым стеклом в мелком переплете и к обоям, которые теперь, после того как сняты фотографии — с пятнами невыгоревшего цвета, — приобрели какой-то грязноватый и голый вид. Все это еще почти свое, но уже чужое. Я стою в нерешительности Мадрид. Кончилась страстная забота, осыпались флажки. «Брат! — говорит Антон. — Она еще нам пригодится». — «Дай ее мне», — говорит Вадька Батон, явившийся без приглашения. Он повсюду таскается за Антоном, как рыба-прилипала за акулой. Входит бабушка и говорит: «Если не возьмешь карту, я заверну в нее мясорубку». Нет, я возьму ее.

Отдираю кнопки, снимаю карту и складываю ее в восемь раз, так что получается пухленькая брошюрка. Ее можно положить в карман пальто. Эта карта до сих пор среди моих книг на полке. Прошло много лет, я ни разу не развернул ее. Но то, что вобрало в себя так много страданий и страсти, пускай детских страданий и детской страсти, не может пропасть вовсе. Кому-нибудь все это да сгодится. Тогда, под дождичком, возле сложенной горкою *хурды-мурды*, в ожидании грузовика...

«А та квартира, — спрашивает Батон, — куда вы переедете, она какая?» «Не знаю», — говорю я..

Но я знаю, бабушка говорит, что место очень хорошее, рядом парк, много зелени, замечательный воздух. Правда, ездить бабушке на работу будет далеко.

Сначала трамваем до заставы, потом автобусом, всего около часа. Но хорошо то, говорит бабушка, что в трамвай и в автобус она будет садиться на конечных станциях, в пустые вагоны. Мы будем жить в одной маленькой комнате в общей квартире. Комната на солнечную сторону и во двор. «Очень хорошая комната!» — говорит бабушка. Всего этого не хочется рассказывать Батону. Нет настроения говорить с ним. Если б он знал, как тяжело у меня на душе! Вот они прибежали, дурачатся, шутят, помогают носить вещи, у них прекрасное настроение, и неужели они не догадываются, что мы видимся, может быть, в последний раз? Им хорошо, они остаются вместе. А я — в неизвестную жизнь, к неведомым людям. Где я встречу таких товарищей: ученых, как Антон, остроумных, как Химиус, и добрых, как Ярик? И еще самое главное.

Самое-пресамое главное и тайное. Где еще я встречу такого человека, как Соня? Да, разумеется, нигде на целом свете. Бесцельно даже искать и на что-то надеяться. Конечно, есть люди, может быть, красивее Сони, у них длинные косы, голубые глаза, какие-нибудь особенные ресницы, но все это день смеркается, скоро подъедет грузовик, а Сони нет. Ведь всем известно, что сегодня наступает разлука. Почему же хоть на секунду, хоть оттуда, издалека? Но нет, нет и нет. Батон спрашивает: «Сколько комнат? Три или четыре?» — «Одна», — говорю я. — «И без лифта? Пешком будешь ходить?» Ему так приятно спрашивать, что он не может скрыть улыбку.

Вдруг вижу, она появляется там, в глубине двора, под бетонной аркой.

Быстро, быстро, огибая черный и мокрый двор, бежит сюда, к подъезду.

Подбежала, спрашивает, задыхаясь: «Еще не уехали? Вот хорошо! А это тебе... на память...» — сует мне что-то завернутое в газету, похожее на книгу. И смотрит весело не на меня, а на всех, на всех.

Дорожные шахматы. С дырочками, чтобы втыкать фигурки. Я видел такие у нее дома. Но сейчас меня ничто

не радуется. Ведь мы расстаемся. На всю жизнь, навеки! Почему не понимают, как это страшно: навеки? Я не могу вымолвить ни слова, смотрю на бледное, немного веснушчатое лицо, вижу, как оно улыбается добрыми губами, добрым взглядом близоруких глаз, в которых нет ничего, кроме веселого спокойствия, сочувствия, теплоты — для всех...

«Ну, до свидания», — говорю я, протягивая ей руку. Подъехал грузовик.

Мне кричат. Бабушка суетится, раздражается. Мы забрасываем в кузов *хурду-мурду*. Бабушка садится рядом с шофером, а мы с сестрой перелезаем через борт и устраиваемся на вещах. Сестра прижимает к груди кота Барсика.

Дождь, слава богу, еще льет, поэтому двор пуст, никто не видит, как мы уезжаем. Только лифтер в черной фуражке вышел из подъезда, стоит, заложив руки за спину, и смотрит не на меня, не на сестру, а на грузовик и едва заметно кивает: то ли прощается с нами, то ли задумался о чем-то и кивает собственным мыслям, то ли радуется: наконец-то! Отъезжает асфальтированный, темный от дождя двор, где прошла моя жизнь. Я вижу товарищей этой исчезнувшей жизни, они машут руками, их лица теперь не кажутся веселыми, но они и не очень грустны, а девочка улыбается кому-то. Я догадываюсь, она улыбается тому, ради которого пришла провожать меня.

Это было, как на сказочном распутье: прямо пойдешь — голову сложишь, налево пойдешь — коня потеряешь, направо — тоже какая-то гибель. Впрочем, в к особой породе богатырей: готов был топтаться на распутье до последней возможности, до той конечной секундочки, когда падают замертво от изнеможения. Богатырь-выжидатель, богатырь — тянульщик резины. Из тех, кто сам ни на что не решается, а предоставляет решать коню. Что это было — ленивое легкомыслие и упование на «кривую, которая вывезет», или же растерянность перед жизнью, что постоянно, изо дня в день подсовывает

большие и малые распутья? Теперь, когда прошло столько лет и видны все дороги и тропки как на ладони, ветвившиеся с того затуманенного далью, забытого перекрестья, проступает какой-то странный и полувнятный рисунок, о котором в тогдашнюю пору было не догадаться. Вот так в песках пустыни открывают давно сгибшие и схороненные под барханами города: по контурам, видимым лишь с большой высоты, с самолета. Многие завяно песком, запорошено намертво. Но то, что казалось тогда очевидностью и простотой, теперь открывается вдруг новому взору, виден скелет поступков, его костяной рисунок — это рисунок страха. Чего было бояться в ту пору глаголазой юности?

Невозможно понять, нельзя объяснить. Через тридцать лет ни до чего не дорыться. Но проступает скелет... Они *катили бочку* на Ганчука. И ничего больше. Абсолютно ничего! И был страх — совершенно ничтожный, слепой, бесформенный, как существо, рожденное в темном подполье, — страх неизвестно чего, поступить вопреки, встать наперекор. И было это так глубоко, за столькими перегородками, под такими густыми слоями, что вроде и не было ничего похожего.

Вроде просто непонимание, просто отсутствие любви, просто легкомысляя дурость. Левка Шулепников в перерыве хоккейного матча на стадионе, куда Глебов нарочно приехал с ним повидаться — разболтал, сволочь, так теперь помогай, советуй, — сказал вдруг со злостью: «Да не нужен тебе Ганчук вообще!» — «Почему же не нужен?» А где-то внизу, подслонно, уже слабо шевелилась догадка. Разумеется же, не нужен.

Шулепников рубил сплеча: «Да потому и не нужен, что я тебе говорю! Ты меня слушай, балда!» А он отбрасывал, не желал слушать. Искал Левку, чтобы что-то узнать, и не хотел узнавать. Вот чем он морочил себя и что казалось ему бесконечно важнее всего: может ли человек точно знать о себе, любит он или нет? Почему-то о другом человеке знал твердо: любит. Тут была полная необходимо, ибо стоял на распутье. Иногда казалось, что привязан по-настоящему, что это серьезно, без дураков,

что он скучает, если не видит день или два, а иногда вдруг ловил себя на том, что не вспоминает целый вечер. И, когда внезапно как бы опамятовался и вспоминал, ощущал укол самоукоризны, как нашкодивший школьник: «Что же я так? Ведь это нехорошо!» Но тут же могло нахлынуть почти страстное желание увидеть скорей, и он звонил, мчался, уславливался, придумывал, как устроить свидание. В ту зиму появился друг Павлик Дембо, осветитель с киностудии, который давал ключ от квартиры в Харитоньевском переулке. Ездить для свиданий в Брусково, на что уходило так много сил и часов, теперь было необязательно. Да у него, наверное, в эту вторую зиму не хватило бы на Брусково пыла. Все-таки ужас как тяжело было мотаться. И занимало почти всегда день, чаще всего с ночевкой. А в Харитоньевском дело обходилось двумя часами. Правда, в Брускове все было иначе. Там его не мучили сомнения: что же с ним происходит? В Харитоньевском, в паршивенькой темной комнате Павлика, где всегда пахло едой, борщом — внизу помещалась столовая, запахи сочились сквозь доски пола, а иногда в столовой принимались морить тараканов, тогда пахло дезинфекцией и грозило тараканье нашествие, — в этой чужой холостяцкой берлоге Глебов испытал первые приступы неуверенности в себе, непонимания себя или же, попросту говоря, послелюбовной тоски. Вдруг становились неприятны ласки, прикосновения, даже простые слова, он отодвигался, мрачнел — мрачность была совершенно непобедима, охватывала помимо воли — и думал в тоске: «Разве любовь может пропасть вот так, в одну секунду? Значит, тут не любовь. Тут другое». Конечно, он был дураком, мальчишкой, но ведь в чем-то важном, когда стремился до этого важного докопаться, он дураком не был. Кого терзает загадка: истинна ли любовь? Большинство пытаются разгадать это в других. А Глебов упорно вел следствие о себе самом, ибо хотя не знал на опыте, но догадывался или же читал в какой-то умной книге: нет коварней союза, основанного псевдолобвью. Тут будут несчастья, гибель или же пресное, тягучее прозябание, которое и жизнью не назовешь. Но вот как разгадать? Его тревожило одно тайное, стыдное. В

Харитоньевском бывало берега. Несмотря на долгие, изнурительные старания. Соня не понимала, что с ним происходит, едва не плакала от жалости к нему. Ей казалось, что она виновата. Всегда во всем она винила себя. «Тебе нужна другая женщина!» Он, конечно, горячо возражал, но глубиной души соглашался: может быть...

Но может быть, и нет! Бывали и другие часы в Харитоньевском переулке.

Вот в чем сомнений не было — в ее любви, в ее доброте. Тогда ему, глупцу, этих даров казалось мало. И был еще дар: неумение таить ни мыслей, ни чувств, никаких движений души. О, с другими она умела лукавить! Но лишь для того, чтобы с ним наслаждаться беспощаднейшей откровенностью. Однажды рассказала, как она и Куник чуть не сошли с ума. И как она его обидела. Ей было восемнадцать, лето в Брускове, конец войны, электрички ходили с перебоями, и они оказались на даче вдвоем. Ночью была гроза, молнии разрывались рядом, все вокруг трещало, на веранде полопались стекла и заливало ливнем. Она боится грозы, становится как полоумная, и вот в таком состоянии помрачения ума бросилась к нему в комнату, он спал, ведь он глуховат, не слышал грома, стал ее успокаивать, закутывал, обнимал, укладывал на диван и сам обезумел от другого. Сквозь страх, от которого ее колотило, как в ознобе, она вдруг поняла, что этот человек помешался. Он лепетал вздор, почему-то одно и то же: «Твоя мама и моя мама...» Не было сил кричать, не было сил шевельнуть пальцем, грохот грозы оледенил ее, а у него не было сил бороться с собой. Его согнуло и распластало. Он подползал на четвереньках и хотел взобраться на диван с пола, снизу. Ощущение было, как в тягучем сне: всякое движение требует невероятных усилий. Когда уж дышал рядом и обхватил, оттолкнула его, он слетел на пол и молча отполз, как побитая собака. Непередаваемое мучительство: то, что испытываешь после удара человека по лицу! Тем более доброго, слабого, близкого человека, вина которого лишь в том, что он сошел с ума. Она страдала, не знала, что делать, как загладить этот ужас. А что он-то должен был

ощущать? От жалости к нему и от мук совести она была готова на все... Но, конечно, ни утром, никогда потом не говорили об этой ночи, будто ее и не было.

«Что ж ты молчишь?» — спросила Соня и стала целовать Глебова. Он молчал оттого, что был несколько ошеломлен рассказом, но не настолько, чтоб тихонько и как-то сквозь улыбку заплакала: «Нет, нет! Никогда, ни за что...

Просто я никому не рассказывала, только тебе...» Для нее рассказать об этом — в общем-то, о безделице, ведь ничего не произошло — было подвигом, очищением. Ни крупницы не хотела от него скрыть.

Да и что уж скрывать! Ни малости не затаилось к двадцати двум годам, полудетские дружбы, чужие страдания, загадочный опыт подруг, искавших с нею поделиться и посоветоваться. Она советовала. Но, когда обрушилось на нее, она молчок, никому ни слова. Фифы-однокурсницы, когда-то лепившиеся к этому дому, к шуму, к доброте, к тортам из академического распределителя, теперь исчезли из обихода. Ни одна не была ей теперь нужна. И вовсе не из черствости, ревности или самолюбивой жадобы, а просто все ее существо было полно им, ни для кого иного не открывалось места. Как же можно было такую девушку сделать несчастной? Ей грозило страшное: любовь без любви...

Но надо всем этим мучившим душу нагромождением тайно светился — тогда невидимый, теперь же обрел рисунок — невзрачный скелетик, обозначавший *страх*. Вот ведь что было истинное. Ну, это потом, потом! Проходят десятилетия, и, когда уже все давно смыто, погребено, ничего не понять, требуется эксгумация, никто этим адским раскопом заниматься не будет, внезапно из темноты, серой, как грифель, выступает скелет. Было сказано: «В четверг прийти и выступить!» Когда он, мгновенно сообразив, дернулся было что-то врать насчет того, что кто-то у него дома болен, его прервали тремя словами: *более чем обязательно*. Тогда понял, что совершил ошибку, не надо было заранее отказываться,

ссылаясь на чью-то болезнь, потому что — если *более чем обязательно* — принимают меры, вызывают родственников, сиделку, а вот если хворь, будь она неладна, грянет внезапно, допустим, в среду... Но исправить было нельзя. Он сказал, что придет непременно, хотя ни секунды в это не верил. В общем-то, для него это было исключено. «Вы должны не просто прийти, но выступить! — была сделана твердая поправка. — Повторить вкратце хотя бы то, что говорили нам. Ничего основательного от вас не требуется...

Несколько реальных подробностей, но необходимо... Без этого у нас ничего не склеится...» Эта фраза всадила в сознание гвоздем. Много часов он раздумывал над ней, повторял ее мысленно с той интонацией, с какой произнес Друзьяев, старался понять: была тут угроза или констатация, относилась ли эта фраза к нему, к Ганчуку или к администрации? У кого «ничего не склеится»? А несколько дней назад в разговоре с Друзьяевым и Ширейко — эти два были главные *толкальщики бочки*, остальные преподаватели подчинялись неуверенно или даже втайне ропща — он обмолвился насчет несчастных бюстиков, стоявших на верху книжного шкафа в кабинете Ганчука. Друзьяев попросил добродушно, с милой, располагающей улыбкой: «Вадим, опишите, пожалуйста, если можете, кабинет Николая Васильевича.

Какие книги, какие картины на стенах, фотографии?» Это был своего рода словесный обыск, как бывает словесный портрет. Он решил не называть некоторых книг и фотографий, которые ему запомнились, например, фотографию Ганчука вместе с Демьяном Бедным в гражданскую войну, оба в буденновских шлемах, и фотографию Лозовского с надписью. Тогда Лозовский был еще в полном порядке, но Глебов проявил осмотрительность. А вот о гипсовых бюстикках, стоявших в солдатском строю под потолком, он упомянул как о детали полуанекдотической. Однако аспирант Ширейко посуловел и жестким голосом спросил: «Интересно, каких философов держит профессор Ганчук на своем книжном шкафу?» Глебов не помнил всех, там было бюстиков

восемь. Помнил Платона, Аристотеля и еще, кажется, Канта и Шопенгауэра, кого-то из немцев.

«А философов материалистического направления не помните?» Глебов вспоминал, напрягаясь. Кажется, там был еще Спиноза, но это не наверняка. «Ну, Борух Спиноза! Разумеется, — сказал Ширейко. — Но Спиноза не истинный материалист. А вот античных материалистов Демокрита, Гераклита не помните? Может быть, французы? А Гегель? Людвиг Фейербах?» Глебов уже догадался, что глупо всунулся с бюстиками, они могут вытянуть отсюда черт знает что, поэтому стал твердить: не помнит, не знает. Может быть, есть, кажется, есть. Потом спрашивали о том, как осуществляется руководство дипломом, какие даются советы, замечания, рекомендации. Нет ли в методологии отголосков старых грешков? В частности, например, переверзевщины? Глебов решительно отметал.

Но те наседали. Недоучет борьбы классов? Переучет подсознательного? Замаскированный меньшевизм? От чугунов, что норовили навесить, он судорожно отбивался, понимая, что, коли уж навесят, зашатаешься. С профессором вместе.

Но ведь когда человек страшно жаждет услышать *нечто*, бывает трудно не пойти навстречу полшага, не выдавить хотя бы частицу *нечто*. «Глебов, вы себе противоречите. Вы же только что говорили...» — «Ну, в какой-то степени... Самой минимальной... Я не придавал значения...» Прощаясь, Друзяев полушутя, посмеиваясь — он все время то супил брови по-прокурорски, то улыбался, похмыкивал, тогда как Ширейко, не расслабляясь ни секундой, буравил стальным оком, — попросил все же *ради хохмы* уточнить насчет бюстиков, кто там поименно. Глебов пообещал, думая про себя: вот вздор! Кретинизм высшей марки. Чего они хотят из этих бюстиков выжать? Дела у них, значит, неважнец, если на такое «фуфло» кидаются. «Фуфло» — словечко Паши Дембо, из игроцкого, бегового жаргона, означавшее — пустышка, чепуха.

Ширейко вдруг жестким голосом: «Хочу с вами поспорить, Викентий Владимирович. Нужно не *ради хохмы*, а ради истины, чтоб узнать, каковы истинные кумиры. Тут не праздное любопытство, а реальное дело». И Друзяев, зав учебной частью, почему-то затормошился, заерзал перед аспирантом: «Нет, нет! Конечно, Юрий Северьяныч! Я полностью разделяю...» Глебов пугался, слушая, и одновременно его разбирал смех. Кумиры! С важностью говорят о ерунде. Да с них пыль двадцать лет не смахивали, с кумиров этих. Торчат там, на верхотуре, и понять нельзя, кто есть кто. Ну ладно, если так интересуется, он узнает.

Потом было чаепитие у Ганчука. Старик легким голосом спросил: верно ли сказали в ректорате, будто он, Глебов, хочет менять руководителя диплома?

— Что, что? — переспросила Юлия Михайловна в изумлении. — Дима хочет менять руководителя диплома? То есть тебя? Это замечательно! — Она засмеялась.

— Меня это тоже развеселило.

— Главное, он удачно выбрал время.

— Да, время выбрано — лучше нельзя. Кстати, в субботу или в воскресенье появится статья Ширейко — ты его не знаешь, это наш аспирант, проходимец — под названием «Беспринципность как принцип». Мои люди мне сообщили. Целый подвал.

— О ком это? — Юлия Михайловна с выражением ужаса на лице прикрыла ладонью рот.

— Ну, не только обо мне, но я там главная фигура, ферзь! Фигура, конечно же, дутая и, что особенно отвратительно, беспринципная.

— Ой... — стонала Юлия Михайловна.

Соня, побелев, смотрела пожирающим взором на Глебова, а Глебов застыл, не мог ни двинуться, ни вымолвить слово.

— Не знаю подробностей, ведь я не читал. Там что-то насчет неизжитого меньшевизма, что меня удивило,

потому что я как раз всю жизнь с меньшевизмом боролся. Тут вышла неувязочка. Надо было хоть чуть-чуть поинтересоваться моей биографией. Но в общем и целом...

— Почему вы молчите, Дима? — вскрикнула Юлия Михайловна и стукнула ладошкой по столу.

— Я не знаю... Пусть Соня скажет... — пробормотал Глебов, вставая из-за стола. Он ушел в Сонину комнату, почти убежал.

Сони не было долго. Он ходил по комнате из угла в угол, от одной этажерки до другой, нещадно курил, клял себя за то, что не объяснился с Ганчуком загодя, и злобствовал против Друзьева. Эту пакость — преждевременно объявить ничего не подозревавшему Ганчуку — те сделали нарочно. Чтоб его, Глебова, подтолкнуть к решению и заодно разорвать его отношения с Ганчуком.

А что, если шиш? Упереться, ухватиться за что-то? На каком основании? Кто дал право?

Вбежала Соня, бросилась к нему.

— Дима! У тебя очень плохой вид! — Стремительно положила руку ему на плечо. Это был такой школьный, пионерский ободряющий жест. — Как ты себя чувствуешь? Ты бледен. Я им все, все объяснила... — Смотрела на него с испугом, а он был поражен ее видом, ее неживой белизной и тем, как дрожала рука на его плече. — Папа понял сразу. Мама сначала не поняла, но потом тоже поняла и сказала: «Ну что ж, возможно, он прав...» — А что ты им сказала? Про нас?

— Да. Я все сказала. И про тот разговор, про гнусную западню, как ты со мной советовался, а я не могла — нет, не хотела — тебе ничего советовать...

Потом возник багроволицый и несколько растерянный Ганчук.

— Понял, прощаю... Впрочем, не буду болтать, понять и, значит, простить... Но впредь о таких вещах

хотелось бы заблаговременно...

Обнял Глебова, похлопывал по спине. Соня вытирала глаза. Все трое были взволнованны. Но каждый по-своему. Ганчук предложил выпить по рюмке кагору, он всегда держал в буфете бутылку этого приторно сладкого напитка, говорил, что его дед, отец покойной мамы, деревенский священник, любил это вино, называемое церковным, и маме передал пристрастие, так что кагор напоминает ему детство, черниговскую захолустную улочку, запахи комода, деревянных полов, коровий мык по вечерам, золотые шары под окнами, и, хотя Глебов терпеть не мог этой дряни, он, конечно, согласился.

Вернулись в большую комнату, сказали Юлии Михайловне, которая неловкими ручками убирала стол после чая — Васена рано ложилась спать, вечерние трапезы обходились без нее, — что все хотят немедленно выпить кагору, на что Юлия Михайловна, не прекращая возни, ответила, что у нее очень сильная Kopfschmerz. После этого она ушла с подносом, полным грязной посуды, и больше не появлялась. Может, и в самом деле ее мучила Kopfschmerz. На Глебова она не посмотрела ни разу, и вообще было странно, будто Соня ей ничего не сказала и она ничего не знает.

Ганчук объяснял — теперь уже как *своему человеку*, — отчего разразилась вся эта кампания против него. Такого оборота не ожидал никто. Конечно, повод был: он защищал Аструга, Родичевского и некоторых иных, кого критиковали в недопустимой форме. Когда людей незаслуженно унижают, он не может стоять в сторонке и молчать. А Дороднов — имейте в виду, он мотор всей этой затеи, остальные только шкивы и колесики — как раз надеялся на то, что он будет безмолвствовать, как олимпиец. Ведь он олимпиец, членкор! Но выдержки не хватило. Впрочем, на то был расчет: чтоб его спровоцировать. Да, ввязался, писал письма, ходил по этому вопросу в инстанции... Словом, открылась война... А как же иначе? Боря Аструг — его ученик, Родичевский — большой талант, божьей милостью... Не надеялся восстановить их на работе, да

они уж никогда сюда не вернутся, но хотя бы смуть клеймо: низкопоклонники, безродные, такие-сякие, галиматья полная. Боря Аструг всю войну прошел, боевой офицер, ордена заслужил — каков низкопоклонник! Ну, ошибки, заблуждения, у Аструга, скажем, в книге о Горьком методологические ляп— нагромоздил в книге о романтизме! А книга пустейшая. Все натаскано. Но ведь не враги. Он знает, что такое рубать врагов. Рука не дрожала, когда революция приказывала — бей! В Чернигове, до того как пойти на учебу, работал в отряде особого назначения Губчека. Ганчук — это звучало страшно для врагов. Потому что ни колебаний, ни жалости. И, когда однажды отец, тогда уже совсем больной, просил за одного попа-того заподозрили в связях с бандой, — Ганчук ему отказал, враг был раздавлен вкупе с бандитами, волк в овечьей шкуре, на его совести была кровь красноармейцев, а с родным отцом вышла смертельная ссора до конца жизни старика. Вот как решались тогда вопросы. А тут? Кого собрался уничтожать товарищ Дородное?

Так вот, причины гораздо глубже. И опять поражаешься гениальности Маркса, который в каждом явлении, каждом факте жизни умел увидеть диалектическую и классовую сущность. Именно этому, милый Дима, вам следует учиться, чтобы твердо стоять на ногах. В двадцатых годах Дороднову попадало крепко, он был попутчик, разумеется, беспартийный, сочинял какую-то труху в духе смены вех, словом, типический мелкобуржуазный элемент, слегка закамуфлированный в духе времени, когда плодились всякого рода кооперативные и частные издательства, группки, журнальчики с невнятными платформами, и вот тогда мы его не добились!

Он уполз, перекрасился, растворился, как многие, для того, чтобы теперь выплыть в новом качестве. Анекдот: *он меня учит марксизму!* Недопеченный гимназистик со скрытой то ли кадетской, то ли нововременской психологией обвиняет меня в недооценке роли классовой

борьбы... Да пусть молится богу, что не попался мне в руки в двадцатом году, я бы его разменял как контрика!

Вот кардинальнейшая ошибка: мелкобуржуазная стихия недодавлена. Теперь, когда строй устоялся, когда позади великое испытание и настал час жатвы, они вылезли из разных нор, в разных обличьях — недобитки тех лет... Правда, они выглядят сугубо революционно, щеголяют цитатами из Маркса, из Владимира Ильича, выдают себя за строителей нового мира, но вся их суть — их вонючая буржуазность — вылезает наружу. Они хватают, хапают, нажираются, благоустриваются и еще сводят счеты с теми, кто их лупил в двадцатых годах.

Сволочь надеется взять реванш. Но ведь бездари, неучи! Не понимают простой истины, что буржуазия ликвидирована как класс, что ей нет и не будет места на русской земле. Между прочим, Соня сообщила нам о некоем важном решении. Это действительно имеет место? План революционного преобразования семьи Ганчуков? В таком случае еще по рюмке за это хорошее дело...

— Юлия! Иди сюда, тебя требует молодежь! — громко звал Николай Васильевич, взвинченный разговором, вином и тем, что жена проявляла какое-то неясное неудовольствие.

Он не мог понять, что происходит с ней, хотя бы потому, что Сонино сообщение само по себе не произвело на него особого впечатления. Другое терзало его пылающий мозг: газеты, друзья, враги, академия, книги, прошлое.

И еще старость и близкая смерть... Лицо его, недавно в багровых пятнах смятения, теперь покрывал ровный и густо-розовый румянец от выпитого вина, такой цвет бывает у марципановых яблочек, которые вешают на елку. Юлия Михайловна все еще одолевала Kopfschmerz. Соня смотрела на Глебова счастливыми глазами. Глебов под руку повел Ганчука в кабинет — тот хотел показать какой-то альбом времен гражданской войны. «Я вам покажу мальчика, у которого была оч-чень тяжелая лапа! И я бы вам не советовал — слышите, Дима? — попадаться тому

мальчику на глаза. Ой, как он не любил ученых молодых людей в очках! Он их рубал сразу — ха-ха! — не спрашивал, кто папа, кто мама!» Глебов вспомнил, что ему тоже кое-что нужно в кабинете — посмотреть на эти проклятые бюстики.

«Более чем обязательно, — сказал Друзяев. — В четверг, послезавтра».

Еще он сказал именно тогда же, в тот разговор — и это было слитно, не разодрать, как два разноцветных куска пластилина, скатанных в шар или в одну мягкую липкую колбасу, если раскатывать шар между ладонями, ощутил вдруг слабость и покорность детства, когда чужие руки берут тебя, как кусок пластилина, и мнут, стискивают, сжимают, плющат, делают из тебя что хотят, — он сказал как бы между прочим, в придаточном предложении, в той же фразе, что и насчет *четверга*: есть предварительное решение о стипендии Грибоедова. Ему, Глебову. По результатам зимней сессии. И Глебов промолчал, не отозвался, подхватывая ту же игру — будто случайно оброненная новость есть и в самом деле пустяк, не стоящий внимания, — хотя все внутри обдало мгновенным жаром.

Стипендия Грибоедова! Пускай последние месяцы, все равно благо. Тут же сообразил, что не денежный приварок важен, а моральный импульс — вперед и вверх. Но в новости была боль — в другую секунду пришло печальное понимание, — ибо оно плотно слиплось с *четвергом*, одно от другого неотъемно. Или все вместе, комом, или же ничего.

«Но ведь невысказано — прийти и выступить!» В тот же вечер — к Шулепникову. Опять безумная надежда на Левкино могущество, не поколебленная с детских лет. Что он мог сделать? Как повлиять? Глебову представлялось, что стоит, например, Левке — ну, не самому Левке, его отцу, отчиму — сказать институтской администрации: «Не мучайте Глебова!» — и те от него отстанут. В самом деле, сколько можно? Есть предел человеческих сил. Сначала переменить руководителя диплома. Потом рассказать о

переверзевщине, о том о сем. Потом — что у него на книжном шкафу. И он этой гадостью занимался, соглашался, рассказывал. Так все им мало, еще тебе задание: прийти и выступить. Ну, не через край ли?

Левка слушал вроде сочувственно, хмыкал, кивал головой, а сам крутил ручки невиданного еще аппарата — телевизора. В маленьком беловатом оконце что-то смутно мелькало, дергалось, кусками доносилось пение: передавали оперу из Большого театра. Во всей Москве, говорили, таких телевизоров всего семьдесят пять штук. Левка был поглощен новой забавой, сердился, чертыхался, изображение портилось, тут же сидели его мать и тетушка, пришедшие на сеанс, и нужного разговора не получалось. Но другой возможности не было. Глебов все валил в открытую, при женщинах. Мать Левки сказала с горячностью: — Лев, ты должен непременно Диме помочь!

— Ты считаешь?

— Да, считаю! Я Союю хорошо помню, она очень милая. Отца ее я не знаю.

Но что за бред — так издеваться над чувствами молодых людей...

— А, тоже мне чувства... — Левка махнул рукой.

— Конечно, тебе этого не понять! — насмешливо и с еще большим напором произнесла Алина Федоровна. — Для человека, который лишен музыкального слуха, всякая музыка — шум.

— Аля, не волнуйся, пожалуйста, — сказала Левкина тетушка.

— Ты пришла в театр или на митинг? — спросил Левка.

— Да что с тобой говорить! — Алина Федоровна сделала резкий взмах рукой, и это был совершенно тот же жест, что только что сделал ее сын.

Помолчав, она прошептала, ни к кому не обращаясь: — Так испохабить собственную жизнь...

Окошко в телевизоре прояснело, стали видны фигуры певцов посередине сцены, и на некоторое время наступило молчание — смотрели на экран и слушали пение. Левка сидел перед телевизором на полу. Повернувшись к Глебову, он сказал весело: — Видимость будет лучше, понял? Нужна другая антенна. Мне Ян достанет.

Тут все дело в антенне.

— Лев, я повторяю, ты должен что-то сделать для Димы и Сони! — В голосе Алины Федоровны звучали запальчивость и раздражение. Глебову это не нравилось, он боялся, что Левка разозлится. Между ним и матерью вечно были какие-то раздоры. — Скажи, почему ты никогда не можешь ничего сделать для других? Ведь это неблагородно, Лев! Это очень низко. Нельзя быть таким махровым эгоистом. К тебе пришел старый товарищ, просит тебя о помощи...

— Да что я могу! — прорычал вдруг Левка. — Я кто, директор? Замминистра?

— Ты можешь. Мы знаем. Ты окружил себя таким количеством подлецов, что практически...

— Мать, полегче о моих друзьях! — Левка погрозил пальцем довольно беззлобно. Весь этот разговор был как-то ненатурален: мать нападала на него скорее по привычке, чем повинуюсь порыву, а он слушал ее вполуха и оба заранее как бы соглашались на ничью. — Чего ты там суетишься, Батон? Я что-то не пойму...

Глебов повторил. Чтоб не мучили, не приставали. Могут ли во всей этой свистопляске обойтись без него? Неужели непременно надо человека унижить: нет, мол, голубчик, ты уж приди и выскажись, твое мнение очень ценно, потому что ты самый близкий профессору человек. А как потом? Как с Соней?

Выскажись! Легко сказать. Язык-то не поворачивается. Это не «выскажись» называется, а «вымажись». *Приди и вымажись.*

— Ишь ты, какая чистюля! — вдруг со злобой ощерился Левка. — Другие пусть мажутся, а я в стороне постою, а? Так, что ли? Хорош гусь!

Глебов сказал, что у других нет таких отношений с этим семейством, им легче. Он понял, что Левка ничего не сделает, не захочет делать. Не надо было приходить сюда. Левка очень переменялся. Мать права, стал чудовищно равнодушен ко всем. И оттого, наверно, эта внезапная и какая-то необъяснимая, животная злобность. Ну да, злобность как реакция на все мало-мальски неприятное, нежелательное, на то, что доставляет неудобство в жизни. Например, вот это: куда-то звонить, за кого-то просить. Левка продолжал в раздраженном тоне разглагольствовать о том, что ничего нет ужасного в том, чтобы выйти и сказать два слова с трибуны, если это нужно.

Он сам будет выступать, хотя ему тоже неловко, ведь он знает Ганчука с детства, да и некогда, голова занята не тем. Его сейчас в один вояж готовят на полгода, сидит ночами английский пилит, вон книжки валяются, словари. Но если нужно выступить, значит, нужно, старик-то маразмидует, время его давно ушло, а он не чувствует, хорохорится вместо того, чтобы уступить место, и не хрена тут разводить китайские церемонии, а то хороши: и на елку сесть и задницу не поцарапать...

Когда он еще раз повторил: — Сам буду выступать и уж врежу так врежу!

Глебов спросил: — За что?

— Как за что? Да вот за беспринципность, за групповщину. И низкопоклонство там водилось.

— Брехня.

— Почему брехня? Докажу запросто.

— Да! Запросто! — заорал вдруг Глебов. — Ты ведь не жених Сони Ганчук, черт бы тебя взял!

— А ты жених? — Левка посмотрел лукаво, щуря красноватый глазок. — Отвечаю тыщей против рубля, что и ты нет... Залежимся, а?

— Лев! Что ты говоришь? Как тебе не совестно? — возмутились тетка и мать, не отрываясь от телевизора, где все еще что-то дергалось и мелькало. И Левка, разговаривая, время от времени подкручивал какие-то ручки.

— Я ухожу, — сказал Глебов, вставая. — Прощайте! Но Левка живо вскочил и схватил Глебова за руку.

— Подожди! Сядь! Сейчас мы что-нибудь придумаем. Знаешь что? Давай-ка я позвоню Юрке Ширейко.

Тут же подошел к телефону и стал звонить. Разговор был поразительный, панибратский. Как далеко теперь Левка ушел от Глебова: тот ничего не знал о его друзьях не то что в городе и окрестностях, но даже в институте.

— Что делаешь? Корпишь? Сидишь над картой-двухверсткой? Еще раз мозгуешь план генеральной битвы? А? — юродствовал Левка. Глебов содрогался заранее от того, что Левка таким гнусным тоном будет говорить о нем. — Слушай, кати сюда! Нам телеприемник привезли. По спецзаказу. Приезжай, посмотрим. Мы как раз сейчас запускаем. Оперу из ГАБТа... Да с Димкой Глебовым, твоим крестником. Он тебе привет шлет... спасибо, передам... Ну как? «Хванчкара» есть. Бате вчера прислали ящик... Нет? Никак? Не могешь или не хочешь? Ну, смотри, девка, тебе жить... Слушай-ка! Тут такой вопрос... Не хотелось по телефону, но коль ты так безумно занят...

— Не говори обо мне ничего! — зашипел Глебов, делая знаки руками.

Левка отмахнулся: сиди молчи.

— Тут вот такая проблема. В четверг собрание, так? Да, читали, конечно... Статья — сила! Очень сильная! — Подмигивал Глебову. — Мы как раз тут сидим, обсуждаем. Все правильно, все по делу... Точно, точно... Да, да, да... Правильно... Точно...

Оставив трубку на расстоянии вытянутой руки, цедил насмешливо: — Наворотил мерзостей и еще требует

комплиментов, скотина! Да, статья тебе удалась. Поздравляем. Статья чудесная. Так вот, как быть с Димой Глебовым? Ведь ему выступать неловко, сам понимаешь... Ну?.. Ну... Ну и что же? Вот и звоним, советуемся...

Затем были долгие и маловнятные междометия, затем Левка брякнул трубкой, сказал «пока!» и, вздохнув, сообщил: — Чего-то ворчит на тебя... Никто, говорит, его силой на трибуну не тянет, пусть, говорит, целку из себя не строит... Чего, говорит, он бегаёт и всем жалуется?.. Зануда, говорит, твой Глебов...

Глебов молчал, подавленный. Только неприятности от этого звонка, как он и предчувствовал. Левка же чему-то самодовольно радовался, смотрел победителем и считал, что выручил Глебова из беды.

— Теперь ты вольный казак: можешь выступать, можешь не выступать, как хочешь. Хозяин — барин. И это я тебе устроил, понял? Он меня уважает, принесу «хванчкару», сулгуни. Есть настоящий лаваш, из грузинского магазина.

Кутеж двух князей!

Глебов не успел решить, идти ли ему домой, к Соне или же оставаться в этом суматошливом доме, как Левка появился, прижимая к груди четыре темные большие бутылки. Женщины уже стелили скатерть на круглый стол, звенели бокалами...

Оставалось два дня. Глебов все еще не знал, что он будет делать в четверг: и прийти, и не прийти было одинаково *невозможно*. Во вторник, после посещения Левки Шулепникова, которое окончилось ужасающим скандалом и загулом на всю ночь, он был смертельно разбит и просто не мог подняться и поехать в институт. Полдня приходил в себя, валяясь в своей комнатке мертвяком — притащился на рассвете, ничего не соображая, и так и рухнул, одетый, — а когда продрал зенки, увидел врача в белом халате. Врач пришел не к нему, а к бабушке. Баба Нила уже несколько дней болела тяжело, не вставала. Глебов сквозь гул и нестерпимое

громыхание, будто кто-то перебирал над ухом листовое железо, услышал, как врач разговаривает с двоюродной сестрой Клавдией. «А если укол?» — спрашивала Клавдия, и лицо у нее было ненавидящее. Врач повторял гулко: «Хозяин — барин!» Заголили руку, сделали укол. Уходя из комнаты, врач, довольно молодой и красивый, с розовыми щечками, посмотрел на Глебова внимательно и сказал: «Хозяин — барин». У Глебова все время сжималось сердце и холод прокатывался волной внутри тела.

Клавдия села рядом, склонила белое злое лицо и прошептала: «Бабке плохо, я ночи не сплю, здесь дежурю, а ты, — в глазах ее были слезы, — являешься, как свинья... Где ты был? Как черт изгваздался, все в чистку...» Ему было жаль Клавдию, та плакала, но он ничего не мог припомнить, объяснить и только, напрягши силы, прохрипел: «Хозяин — барин...» Потом понемногу стали возникать осколки вчерашнего. Все, что началось так мирно и по-домашнему, с мамой, тетей, белой скатертью и звоном бокалов, завершилось несуразной пьянкой неведомо где. В квартире с полукруглыми окнами, под крышей. Там был старинный граммофон с трубой, По коридору надо было ходить на цыпочках, кто-то постоянно падал, и его поднимали с хохотом. Одна женщина спрашивала: «Сколько платят за диссертацию?» Когда сидели с тетей и мамой за круглым столом и пили «хванчкару», Левка вдруг быстро отяжелел. Глебов удивлялся: отчего так быстро? Его мать пила бокал за бокалом. Их лица делались все больше похожими. Сразу было видно, что мать и сын. У нее красновато сверкали маленькие птичьи глазки, и у него такие же красноватые, искрами. И уж они ругались, стучали друг на друга костяшками пальцев! Левка гремел: «А какое твое право так говорить? Кто ты такая? Ты самая обыкновенная ведьма!» И Алина Федоровна кивала с важностью: «Да, ведьма. И горжусь, что ведьма». Ее сестра соглашалась: да, ведьма, весь наш род такой, ведьминский. Быть ведьмой считалось чуть ли не заслугой. Во всяком случае, тут был некий аристократизм, на что обе женщины намекали. Мы ведьмы, а ты подонок. Глебов знал, что с

Левкой Шулепой связываться нельзя. Дело непременно обернется шумом, дракой или какой-нибудь чудовищной нелепостью.

Так уж бывало. «Ах, я подонок? А как же, интересно, назвать *тебя?*» Там был какой-то Авдотьян. В полувоенном. Тоже сидел за круглым столом, пил «хванчкару». Лицо у него было набрякшее, опущенное книзу, унылое, как коровье вымя. Он бубнил: «Каждый платит сам за себя!» Эта фраза почему-то запомнилась. «Хванчкары» было бутылок восемь. Надо было бежать оттуда, но ноги не слушались, он не мог встать. «Если я ничтожество, я уйду от них, — говорил Левка Глебову. — Зачем мне ведьмы? На Лысой горе? Даже если мать, я не хочу! Я посылаю всех к черту, довольно, я ухожу!» Авдотьян его не пускал.

Он ударил Авдотьяна по лицу. Они вырвались, убежали. Какая-то машина везла их глубокой ночью. Долго путались, не могли найти дом, шофер ругался и хотел выбросить среди улицы. Но все-таки доехали. Там был граммофон с трубой. О чем же говорили? Из-за чего скандал? Ах, да, вот что: он стал убеждать Глебова кинуть Соню. «Сонька хорошая, но зачем тебе это нужно? Не будь балдой!» И еще сказал: «Ты хочешь с ней дружить? Это благородно. Я тоже с ней дружу, буду дружить всю жизнь. Все ей рассказывать, обо всем советоваться... Так прекрасно — иметь женщину-друга...» И тогда мать сказала: ты подонок.

Собственно, это было ясно и Глебову. Но Левкина жизненная мощь казалась ночи? Чтобы утешала вас, ласкала, говорила нежные, трогательные слова — и вовсе не за деньги, а просто так, от вечно женственной щедрости, — когда вы несчастны, брошены на асфальт и родная мать прокляла вас? Никто не может утешить так, как женщина среди ночи. И та блондинка с белой пористой кожей, лепетавшая вздор, была, конечно, неправдоподобным и мистическим счастьем — вроде бутылки пива, что нашлась вдруг у никогда не потреблявшего пива Помрачинского, на которого Глебов наткнулся, выползши, полумертвый, в коридор, а пиво

было куплено женой Помрачинского для мытья головы, — но даже и с той блондинкой полного забвения не было. Потому что неотлучно терзала боль: что делать в четверг?

Дело запутывалось все туже. Сторонники Ганчука — а их в институте осталось немало, среди них такие тузы, как профессор Круглов, преподаватель языкознания Симонян, еще какие-то люди, теперь уже забытые, кое-какие студенты, аспиранты — готовились к четвергу, горя желанием защитить Ганчука.

Но не все могли на том собрании выступить. То было расширенное заседание Ученого совета с приглашением актива. Глебова тащили туда как заместителя председателя научного студенческого общества. Пришла бумажка в казенном синем конверте: «Ваша явка обязательна...» Вечером во вторник прибежала Марина Красникова, одна из активисток НСО, всегда крикливая, возбужденная, как бы в легком хмелю — общественный темперамент плескал в ней через край.

Что с ней стало? Куда делась? Ведь казалось, толстуха прямым ходом идет в Академию наук или, может быть, в Комитет советских женщин. Исчезла без отзвука, как камень на дно...

— Тебе придется выступить от нашего общества, от НСО, потому что Лисакович болен, — тараторила Марина, — Вот тут некоторые тезисы... Лисакович диктовал по телефону...

— А что с Лисаковичем? Чем болен? — насторожился Глебов. Хитер Федя Лисакович, кажется, опередил его, вынуждает пойти. Лисакович был председателем НСО. Марина сказала, что у него фолликулярная ангина, высокая температура, но он рвется пойти. Надеется, что к четвергу станет легче. Врач категорически запретил. Глебов спросил с сомнением: какая же температура?

Марина сказала, что будто бы около тридцати девяти.

Тезисы были такие: Ганчук — основатель НСО. Все лучшее, что достигнуто обществом, — благодаря Ганчуку.

Ошибки Ганчука характерны для большинства.

Если удалять Ганчука, значит, и всех остальных. Заслуги неизмеримо больше ошибок. О статье в газете не говорить ни слова. Если же невозможно, сказать, что недостаточно конкретна и малоубедительна. Заявить твердо: должны гордиться тем, что Николай Васильевич Ганчук работает у нас.

Глебов, читая, удивлялся: а все-таки Федька Лисакович храбрец! Одно из двух: либо храбрец до безрассудства, — так гнуть против Друзьева, Дороднова и прочих, — либо же что-то знает. Борьба разгоралась нешуточная. Марина сказала, что профессор-фольклорист Круглов Василий Дмитриевич, очень добрый и всеми почитаемый старик, пришел в ярость от статьи Ширейко и грозит чуть ли не уйти из института, если травля Ганчука не прекратится. «Ну и пусть уходит, — думал Глебов мыслями Друзьева. — Подумаешь, напугал. У нас незаменимых нет».

Одна аспирантка встретила Ширейко во дворе и, когда тот поздоровался с нею, демонстративно повернулась спиной. Говорят, Ширейко покраснел и спросил громко: «Это что значит?» Она не ответила и ушла. А студенты первого курса, у которых он ведет семинар, почти целиком не явились на последнее занятие.

Марина Красникова никогда раньше не приходила к Глебову домой. Ее приход означал крайний накал страстей. Глаза Марины горели благородным сочувствием ко всем благородным людям и радостью оттого, что она тоже причастна к благородному обществу. «Ты должен поднять голос! Сказать за всех нас! Какое безобразие — студенты не могут защитить своего профессора!» Этот натиск, это сверкание глаз и грозное тыканье пальцем напомнили Глебову друзьевское: *более чем обязательно*. По сути, это было одно и то же, тот же террор.

Марина как будто не замечала, что в доме лежит тяжелобольная, что тут медсестра с чемоданчиком, что пахнет лекарствами, что по коридору бежит молодая женщина, Клавдия, с заплаканным лицом. И, когда Глебов,

поколебавшись, все же выдал из себя: «Ты понимаешь, у меня такая сложная ситуация, больна бабушка, неизвестно, что будет через час...» — что было сказала: «Можешь располагать мною! Я могу подежурить час, два, целый день, сколько угодно. Но ты должен непременно пойти...» В тот же вечер явился другой гость — Куно Иванович. Этот визит изумил вовсе. Секретарь Ганчука никогда не приходил сюда, отношения были далекие. В присутствии Глебова Куно Иванович, или Куник, как его звали Ганчуки, заражался какой-то странной нервозностью: возбуждался, острил, голос его начинал дрожать. Глебов однажды посетил Куно Ивановича на его квартире в Гнездиновском переулке. Ганчук послал за какими-то бумагами. Квартира Куно Ивановича поразила Глебова чистотой, прибранностью, совершенно не холостяцким уютом. Было множество цветов в горшках, вазончиках, они стояли на столах, подоконнике и на полочках, развешанных очень живописно повсюду.

Полочки перемежались с фотографиями, репродукциями. Каждая стена являла собой вдумчивое произведение искусства. Все было такое утонченное, музейное, немужское, сомнительное. Пока Куник собирал бумаги, Глебов сидел на пуфике и оглядывал комнату. Он увидел на стене между двумя полочками, где стояли в горшках мускулистого вида кактусы, большую фотографию Сони. Висело много и других фотографий, но Сони была как-то со значением укрупнена.

«Страдалец!» — подумал Глебов насмешливо. Он терпеливо и стойко сносил тон нервного превосходства и поучительства, какой усвоил Куник в разговорах с ним, подчеркивая свое старшинство. А Глебов в его присутствии был абсолютно спокоен.

И даже тогда, во вторник вечером, увидев щуплую фигуру человека в длинном пальто с косенькой, набок и книзу гнутой головой, Глебов, хоть и изумился, оставался спокоен.

Куник не сказал ни «здравствуйте!», ни «добрый вечер», сразу заговорил так, будто между ними

продолжался прерванный только что разговор.

— Мое первое условие, — сказал он, переступая порог, — чтобы обо всем этом не узнал Николай Васильевич.

Какое условие? Что за бред? Глебов сделал жест, приглашая загадочного человека следовать за ним по коридору. И опять навстречу попалась Клавдия.

— Бабушка спрашивает, ты дома?

— Ты же видишь.

— За весь день не зашел ни разу. Она волнуется, не случилось ли...

— У нас бабушка болеет, — объяснил Глебов Кунику. Тот как будто не слышал, продолжал о своем: — Потому что, если узнает, он меня растерзает. С его самолюбием.

Надеюсь, вы поняли этот характер: самолюбив, вспыльчив, наивен и беспомощен, все вместе... — Они вошли в комнату Глебова, и Куник, не раздеваясь, не снимая шапки и не глядя ни на что вокруг, с видом сомнамбулы опустился на первое, что было ближе, — кровать Глебова. Бухнулся прямо в пальто. — За других будет сражаться, как лев, куда угодно пойдет, с кем угодно схватится.

Так бился за этого ничтожного Аструга... Но защитить себя абсолютно не в силах. Пальцем о палец не ударит. Тут должны действовать мы, его друзья...

«Что же мы можем, несчастные лилипуты?» — думал Глебов.

— Я настаивал: «Вы должны ответить Ширейко немедленно! Письмо в редакцию. Очень резкое. Подлость нельзя оставлять безнаказанной». Он сказал, и не подумает. Привел слова Пушкина: «Если кто-то плюнул сзади на мой фрак, дело моего лакея — смыть плевок».

— Пожалуйста, можно выступить в роли лакея, — сказал Глебов. — Я не против. Но как практически?

— Не в роли лакея, а в роли друга я вас призываю выступить! В роли честного человека! То, что он цитировал Пушкина, говорит лишь о том, как он ничего не понимает в происходящем. Ему кажется, что плюнули сзади на фрак. А тут вышли с рогатиной и хотят пропороть пузо. Вот ведь что происходит.

Кончатъ его хотят.

— Куно Иванович, что вы предлагаете? Как можем мы действовать?

— Как действовать!.. Как действовать!.. — бормотал Куник, движением плеч сбрасывая пальто с черным собачьим воротником, которое свалилось на постель, а один рукав упал на подушку. — Я уже действую. Написал в редакцию, восемь страниц на машинке. Подписали шесть человек. И теперь пишу в инстанции. Это письмо никого не прошу подписывать, оно крайне злое, не хочу подвергать людей испытанию. А мне терять нечего, я не боюсь. Что же касается вас, дорогой Дима Глебов... — Одно мгновение он как бы с сомнением и изучающе сверлил Глебова взглядом, двигая рыжеватой бровкой.

Выглядело немного комично. — Вы извините, можно ли вас считать истинным другом Николая Васильевича?

— То есть? Почему же нет?

— Вы извините, но я хочу получить ответ. Вы уж ответьте, пожалуйста.

— Ну, разумеется.

— Так, разумеется. Хорошо. Тогда отчего вы себя так странно ведете?

— Простите, не понимаю.

— Почему не возражаете против использования себя во всей этой гнусной кампании?

Тут Глебов вовсе оторопел. В каком использовании? Да читал ли он, Глебов, статью Ширейко, которого Куник, кстати, хорошо знает по пединституту? Глебов читал. Но читал-то бегло, прыгая через строчки, как читают

отвратительное, желая поскорей бросить. Там есть, оказывается, вот что: «Не случайно иные студенты-пятикурсники решили отказаться от услуг профессора как руководителя дипломной работы». Куно Иванович выяснил: таких отказавшихся был всего один человек. Он даже не поленился съездить на факультет и посмотреть своими глазами заявление товарища Глебова, будущего аспиранта. Когда ему назвали фамилию Глебова по телефону, он ушам своим не поверил. Но вот поехал и убедился. Какая-то фантастика.

— Да вы знаете ли, в чем дело? — крикнул Глебов. — Вы же ничего не знаете. Вам неизвестна подоплека!

— Я знаю, знаю! — Тот замахал поспешно и с брезгливым выражением руками, будто боясь услышать неприятное. — Если и не знаю, то догадываюсь. Но подоплека меня не интересует. Важен факт: вас использовали, а вы молчите...

Вы же молчите, Дима! Почему вы молчите? Как вы можете молчать, приходите в дом, разговаривать с Николаем Васильевичем, с другими... Согласитесь, это как-то несколько, ну, что ли, невысоко с точки зрения морали...

Глебов глядел на своего гостя-мучителя исподлобья. Сердце его колотилось. То ему хотелось крикнуть: «А лезть к перепуганной девчонке под одеяло во время грозы — это как с точки зрения морали?» — то его прожигало чувство стыда и он готов был все сделать, на все пойти, лишь бы исправить то, что случилось. Но смог лишь пролепетать: — Я же действительно не видел той фразы...

— Как будто дело во фразе! Да если на ваших глазах, — гремел Куник, — нападают на человека и грабят посреди улицы, а у вас, прохожего, просят платочек, чтоб заткнуть жертве рот...

— Да замолчите вы! — взмолился Глебов. — Говорите тише, за стенкой больная.

— Нет уж, вы послушайте! Кто вы такой, спрашивается? Случайный свидетель или соучастник? Ну

хорошо, оставим, есть причины, есть подоплека... Допустим, предположим... Но *теперь-то* что делать? Как дальше-то жить? По-прежнему будете выжидать? Времени не остается. В четверг будет ваша казнь, Дима. Я уж вижу, у вас сил не хватит, чтобы встать и сказать: «Неправда!» Значит, казнь... Так тому и быть... Иногда и молчание собственное казнит.

А у Глебова выплеснулось: — Неправда! Выступлю в четверг, скажу!

Рыжевато-блеклый человек поднялся с постели, набросил на плечи длинное пальто. Косенькую головку вскинул, посмотрел пристально, сощуриваясь и, хоть ниже ростом, как бы свысока. Ничего не сказал, не попрощался, пошел своим порхающим лунатическим ходом-летом по коридору, вылетел за дверь, Глебов затворил, вдруг тот опять стучит.

— Дима, дорогой, об одном умоляю... — зашептал, клоня в испуге бледное лицо еще сильнее вбок, — поступайте, как хотите, но старику ни о чем ни слова! Обещаете? Да? Ни о моих письмах, ни о нашем разговоре. Немыслимо ему знать!

И так приближалось неотвратимо то распустье, пыточное, перед которым стоял и ног под собой не чувал в изнеможении — вот-вот упасть... Куда было деться? Несло куда-то. Хотя и стоял будто бы без движения, а несло. Только сам еще не знал куда. Отмелькал еще день, такой же белый, крутящийся, хлопотный, с беготней в аптеку, с разговорами совсем не о том. Клавдия опять ругалась с матерью и плакала на кухне. Очень она любила бабу Нилу. И Глебов любил.

Кого же было любить, как не бабу Нилу?

Сидел возле, держал в руке легкую, как ветошь, сизую старушечью руку и что-то гудел, рассказывал — она просила, как маленькая, — а в голове будто колокол: там коня потеряешь, здесь жену, а тут и жизнь самую. В институт звали на какое-то собеседование с первокурсниками. Да все было ясно. Чего ходить? Не

пошел. Потом Афоничева звонила, секретарь деканата: «Глебов, помните, что завтра в двенадцать?» Голос быстрый, напористый: поскорей обзвонить двадцать человек, отбарабанить по списку. «Помню». — «Приходите без опозданий». — «Приду».

Старался рассуждать спокойно: ну хорошо, четыре варианта, их и продумать. Вариант первый: прийти и выступить в защиту. Ну, не напрямую, скажем, с оговорками, указать на некоторые недостатки, но, в общем, *защитить*, хотя бы в той форме как предлагал Куник: растолковать фразу из статьи Ширейко и объяснить провокационный смысл. Что этот вариант даст?

Озлобление администрации. Прости-прощай стипендия Грибоедова, аспирантура и все прочее. Ведь это значит неожиданно повернуть фронт. Они не простят. О, никогда, никогда. Сочтут предательством. Месть будет страшная, скорая. А так как у Дороднова сейчас вся власть в руках, директор месяцами отсутствует — то где-то в Корею, то в Китае, то в больнице, он сделает все по-своему. Он хочет с Ганчуком расквитаться. Каков же выигрыш от этого варианта?

Благодарность Ганчука и всего ганчуковского семейства. Еще более безмерная любовь Сони. Кое-кто, вроде Марины Красниковой, будет трясти ему руку в течение полуминуты и говорить о том, какой он молодец, как здорово выступил, а Куник скажет, ухмыляясь: «Вы меня удивили! Я рад за вас!» Вот и все. Затем мелким клерком неизвестно где. По субботам, нагрузившись, как мул, тащиться электричкой в Брусково. Проигрыш сокрушительный, выигрыш слабоват. Вариант второй: прийти и выступить с критикой Ганчука. То есть, проще говоря, *напасть* на него в хвосте всей своры. Разумеется, вовсе не агрессивно, не грубо, даже тепло, сочувственно, с громадным сожалением о том, что приходится констатировать, с призывом проявить чуткость и помнить о заслугах, но... В духе, как просили. Что-нибудь насчет переверзевщины или рапповщины, это, собственно, все равно. Про бюстики вскользь. А можно без бюстиков. Можно всего два, три мягко-сожалительных слова.

Главное, промолчать о той фразочке ширейкинской, будто ее не было никогда, нигде. А ведь если, положи руку на сердце, совсем искренне: так ли уж Николай Васильевич как ученый, как наставник со всех сторон совершенен? Неужто нет ни грамма справедливости в тех ядрах, что обрушились на эту крепость?

Признаемся перед собой секретно: есть, есть... Книги-то скучны. Ни одну нельзя дочитать до конца. Невыносимая скучища, если честно! Так писали двадцать лет назад, а теперь нужно что-то иное. Вульгарный социологизм сидит в нем неискоренимо, как наследственная болезнь. Но об этом молчок! Это только так, по секрету. Откровения перед собственной совестью. И насчет того, что властвовал на факультете, тоже не такая уж ложь. Преподаватели назначались с его санкции. В аспирантуру попасть — только через его «добро».

И не такой уж он «не от мира сего», как думают, он наблюдателен, разборчив, к людям присматривается и вовсе не эталон беспристрастия, наоборот, пристрастен, одних любит, других ненавидит, и порой трудно понять, почему.

Его вкусы кажутся старомодными, его пристрастия коренятся в прошлом, в десятилетиях бунтов, борьбы, схваток. Есть химеры, химеричность которых давно очевидна для многих, но он не может от них отпасть, как голодное дитя от сосцов. И есть явления последних лет — то, что возникло в мире перед войной и сразу после войны, — которые он не в силах вместить в сознание. А Дороднов в силах? Но ведь Николай Васильевич честнейший, порядочнейший человек, вот же в чем суть! И напасть на него — значит, напасть как бы на само знамя порядочности. Потому что всем ясно, что Дороднов — одно, а Никвас Ганчук — другое. Иногда малосведущие спрашивают: в чем, собственно, разница?

Они просто временно поменялись местами. Оба размахивают шашками. Только один уже слегка притомился, а другому недавно дали шашку в руку. Поэтому, если напасть на одного, это вроде бы напасть и

на другого, на всех размахивающих пашками. Но это не так. Все же они делают разные движения, как пловцы в реке: один гребет под себя, другой разводит руки в стороны. Ах, боже мой, да ведь разницы действительно нет! Плывут-то в одной реке, в одном направлении.

Тут просто вот что: навсегда расстаться с Соней. С ее любовью. А ведь это такая невозвратимость, такой горький отлом души: лишиться любви к себе хотя бы одного человека... И не только, не только! Тут будет со всех сторон: и проклятие, и держание рук за спиной, чтобы, не дай бог, не оскверниться рукопожатием. Потом кто-нибудь пришлет телеграмму: «Поздравляем с высокой наградой — тридцатью сребрениками имени Грибоедова». На все это можно наплевать. Потому что он получит вдруг такое ускорение, что отлетит далеко-далеко, те исчезнут с его горизонта, сгинут навеки со своими улыбочками, презрением, своими прекрасными шорами на глазах. Не видеть того, что все уже решено с Ганчуком! Спасать его — все равно что грести против течения в потоке, в котором несутся все. Выбьешься из сил, и выбросит волною на камни. Неужели один страх-оказаться вдруг на камнях, в крови, с переломанной ключицей? Тогда не догадывался о страхе. Ведь страх — неуловимейшая и самая тайная для человеческого самосознания пружина.

Стальные пальцы едва ощутимо подталкивали, и был готов, окончательно и прочно готов, но какая-то сила невидимая перегораживала путь. Соня, что ли?

Которую он не любил? И лучше которой не было в его жизни? Нет, не Соня, а то, что было в Соне: ее тепло, добро... Вот это Сонино, сущее в ней легло преградой, и переступить невозможно. Тогда, если невозможны оба варианта, остается третий. Прийти и не выступить, отмолчаться. Этим не угодишь никому.

Возненавидят те и другие. Отпадает решительно! Тогда четвертый. И это уж последний, больше нет ничего. *Не прийти вовсе.* Но как? Они предупредили: более чем обязательно. Значит, причина должна быть роковая, космическая.

Например, идя на заседание и пересекая площадь, попасть под машину.

Наброситься на уличную собаку, чтоб та укусила, чтоб немедленно отправили делать укол. Мало ли что! Все это глупости. Вот если б сердечный приступ и потеря сознания, которые случились два дня назад, произошли бы теперь. Но Друзьяев, как работник юстиции, наверняка бы устроил дознание и выяснил, что причина — алкогольное отравление. Нет, не прийти невозможно. Но и прийти нельзя. Все невозможно и все нельзя. Пат. Ни одна фигура не может ходить.

Примерно об этом, только обрывисто, кратко, усталым голосом, с паузами, впадая вдруг в задумчивость, он рассказал бабе Ниле. Она просила, чтобы он что-нибудь рассказал о *своих делах*.

— Люблю слушать о ваших делах.

Она сама никогда в жизни не работала. То есть работала всю жизнь, но дома, в семье. И она, конечно, ничего в этом не понимала. Но он рассказывал, надо было о чем-то, а в голове только это одно.

Баба Нила вдруг сама пускалась рассказывать о том, что вспоминалось давеча. А вспоминалось ей подробно, хорошо. И все про далекое. Сказать страшно, про какую даль — лет семьдесят назад. Вот как дедушка Николай, глебовский прапрадед, возил ее летом в деревню. Он был купец, жили на Варварке, возле Соляного двора — до революции тот дом продали, переехали на Щипок, в Замоскворечье, — но в деревне, в Веневском уезде, был дом, который дед Николай построил для тещи, потому что та не хотела переезжать в Москву.

И вот бабе Ниле девочкой очень нравилось ездить летом в деревню. Деда Николая там не любили. Звали его Сухой. Но бабе Ниле он казался добрым. В дорогу ей всегда давали «рогожный кулек», из чистенькой желтой рогожки, где были конфеты дешевые, пряники-жамки и орехи. Называлось все вместе «ералаш».

Так и просили в лавке: «Два кулька с ералашем!» А уж девчонки деревенские ждут-пождут, и только возок во двор — они тут же. И баба Нила ну их одаривать: тебе орехи, тебе конфету, тебе жамку медовую. А постный сахар любила прабабка, старуха, которой дед Николай избу построил — она в той избе все равно не жила, потому что построена была, как городской дом, сени не сени, а целая зала, и мебель городская, так что прабабка жила у другой дочери в простой избе, а тот дом пустовал, пока не наезжали из города. И вот дед спросит: «Что вам, мамаша, из Москвы привезти?» — «А постного сахарку, Николай Ефимович, если по силе-возможности!» Ну, конечно, на великий пост посылали с оказией. А летом лотка два непременно везут — его лотками продавали в магазине Зайцева. Лотки такие небольшие, вроде неглубоких ящичков, лежало там в два слоя, разных цветов: лимонный, малиновый, яблочный, сливовый, каких только угодно. И посередке между сахаром цибик чаю...

Так рассказывали друг другу — Глебов бабе Ниле, она ему, — и всем казалось, что старушке полегчало. Она даже совет дала: — Дима, я тебе что скажу? — Смотрела на него с жалостью, со слезами в глазах, будто ему умирать, а не ей. — Ты не томи себя, не огорчай сердца.

Коли все равно ничего нельзя, тогда не думай... Как оно выйдет само, так и правильно...

И, странно, он заснул поздно ночью, ни о чем не думая, в спокойствии. В шесть утра проснулся от низкого голоса, то ли от чего-то другого, внезапно услышал: — Нет нашей бабы Нилы...

Клавдия стояла в дверях черная, без лица, на фоне освещенного коридора.

Голос, низкий, показавшийся мужским, был ее. За стенкой тихонько, боясь соседей потревожить, рыдала тетя Поля. Рыдание было причудливое, будто курица квохтала, которую душат. Вошел отец, что-то насчет врача, справки, куда-то поехать. Так начался четверг. И никуда в этот день Глебову не пришлось идти.

Я пришел в дом на набережной спустя три года, в сентябре сорок первого.

Занятия в школе не начинались. Стояли звездные прохладные ночи. Мы жили ночной жизнью, и мне запомнились ночи. Днем была мотня: то мы в речном порту, то на дровяном складе, то разносили повестки по поручению военкомата, а в свободное время учились, как обращаться с гидропультом, раскатывать рукав и открывать крышку уличного водопровода. Все-таки как-никак мы были пожарники. Хотя какие уж там! Помогали кому придется. В речном порту разгружали баржи с ящиками снарядов, а на дровяном складе освобождали товарняки от дров. Все делалось в спешке, мы не складывали дрова, а швыряли их с платформ как попало, громоздя кучами. Надо было как можно скорее очистить путь. Это я помню — дикую спешку. И помню, как я надрывался, стараясь поднимать самые громадные чурбаки. Но настоящая наша жизнь начиналась ночью, после того как радио голосом Левитана объявляло тревогу.

Ну да, мы дежурили, торчали на чердаках, бегали по крышам в поисках какой-нибудь чумовой зажигалки, чтобы героически схватить ее длинными клещами и сбросить вниз, но главное, мы дышали смертной прохладой этих ночей.

Они были такие светлые, пепельные. Полыхали зарницами, закладывали уши гулом. И этот запах порохового дыма над московскими крышами, дробь осколков по железу и печальная гарь — где-то за Серпуховской — пожаров...

Казарма нашей пожарной роты — полное название было что-то вроде «Комсомольско-молодежная рога противопожарной охраны Ленинского района» — помещалась на Якиманке, за мостом. Дом на набережной не входил в наш участок. Но однажды мы там очутились. Не могу вспомнить, что мы там делали и зачем нас туда погнали. Помню, на крыше встретил Антона с тремя парнями, а потом бегали на квартиру к Соне Ганчук, и там

был Вадька Батон, который на другой день уезжал из Москвы. Он прибежал туда вроде как бы прощаться. Их эшелон уходил на рассвете. А на вокзал они собирались среди ночи, потому что посадка невозможно тяжелая. Я провожал тетку и знал, что там делается. Батон здорово вырос, говорил басом, и у него появились маленькие черные усики.

Было, кажется, так: он прибежал к Соне не только прощаться, но и за каким-то баулом, который она ему обещала. Помню, он стоял посреди кухни и, стоя, пил чай из чашки, а Соня чистила щеткой баул, необыкновенно пыльный, и вдруг погас свет, стали искать свечку или фонарь, в это время объявили тревогу.

Второй раз за ту ночь.

Когда вскоре свет зажегся, я увидел: Сонино лицо в слезах и улыбается.

Соня к тому времени почти совсем исчезла из моей памяти, и на Вадьку Батона я смотрел равнодушно. Все это было далеким, перемученным детством.

Еще помню из той ночи: у Антона на поясе болтался огромный кавказский кинжал. Мы стояли с Антоном на крыше возле металлической, из тонких прутьев оградки и смотрели на черный ночной город. Ни проблеска, ни огонька внизу, все непроглядно и глухо, только две розовые шевелящиеся раны в этой черноте — пожары в Замоскворечье. Город был бесконечно велик. Трудно защищать безмерность. И еще река, ее не скроешь. Она светилась, отражая звезды, ее изгибы обозначали районы. Мы думали о городе с болью, как о живом существе, которое нуждалось в помощи. Но как мы могли помочь? Была минута оцепенения и тишины. Мы стояли на краю невидимой бездны и смотрели в небо, где все переливчато дрожало и напрягалось в ожидании перемены судьбы: звезды, облака, аэростаты, косо и беззвучно падающие белые лезвия прожекторов, без усталости разрубающие это утлое мироздание. И тогда Антон пробормотал фразу, поразившую меня:

— Знаешь, кого жалко? Наших мамаш...

Это значило, нас прежних уже не существовало. Тут был насильственный слом. Время, как и небеса, лопнуло с оглушительным треском.

Потом, помню, стояли мы на площадке, ожидая лифта, чтобы отправить вниз больную Сонину мать. Батон успел мне сказать, что я молодец, вовремя из этого дома смылся. Немцы по нему так и лупят. Все бомбы рядом: на мосту, на Кадашевке. Он как бы отдавал должное моей особой хитрости или удачливости, не знаю уж чему, во всяком случае, я почувал ехидство. Но не стал ему отвечать, потому что был к нему совершенно равнодушен. На всех этажах хлопали двери. Кругом были шум, переклички, топот ног по ступеням, лестница содрогалась. Все прислушивались к тому, что происходит в небе. Пока что было тихо. Антон сказал: — Может, какая-нибудь одинокая сволочь?

Из квартиры напротив вышел мужчина в пальто, наброшенном на ночную сорочку, и вслед за ним женщина, державшая на руках большую толстую девочку с длинными ногами. Издали донеслось буханье зениток. Женщина сказала, ни к кому не обращаясь:

— Всю бы немчуру из дома к чертовой матери... — Тут она посмотрела на мужа и спросила: — Правда, Коль?

Когда открылась дверь лифта и мать Сони сделала движение войти в кабину, женщина довольно ловко оттолкнула ее ногами девочки, сказав: — Нет уж, обождете, — вошла в кабину первая, затем вошли ее муж и еще кто-то. Лифт уехал. Профессор Ганчук спросил: — Кто это такие?

Соня сказала, что новые соседи. И добавила неуверенно: — Люди неплохие, но какие-то странные...

Мы с Антоном скрестили руки «стульчиком», посадили на них Сонину мать и снесли ее вниз, в подвал. Надо было возвращаться на Якиманку. Зенитки были все ближе и громче. Когда я выбежал во двор, громовая стрельба шла отовсюду и в промежутках между залпами

было отчетливо слышно, как осколки зенитных снарядов с силою вляпывались в асфальт. Так, в беготне, в грохоте, я прощался с ними со всеми, а может быть, не успел попрощаться...

Нет, была еще одна встреча, еще одна! Последний раз я встретил Антона в конце октября на Полянке в булочной. Наступила внезапная зима, с морозом, снегом, но Антон был, конечно, без шапки и без пальто. Он сказал, что через два дня эвакуируется с матерью на Урал, и советовался, что с собой взять: дневники, научно-фантастический роман или альбомы с рисунками? У его матери были больные руки. Тащить тяжелое мог он один. Его заботы казались мне пустяками. О каких альбомах, каких романах можно было думать, когда немцы на пороге Москвы? Антон рисовал и писал каждый день. Из кармана его курточки торчала согнутая вдвое общая тетрадка. Он сказал: «Я и эту встречу в булочной запишу. И весь наш разговор. Потому что все важно для истории».

Спустя много лет я пришел к матери Антона — она единственная продолжала жить в доме на набережной, в той же квартирке на первом этаже — и она дала мне шесть тетрадей Антоновых дневников. Это были дневники последнего предвоенного года, они почему-то остались в московской квартире и оттого сохранились. Все остальные сочинения Антона Овчинникова, его альбомы и научные труды погибли в реке Исеть, когда баркас перевернулся и Антон с матерью сами едва спаслись.

Вот что Глебов старался не помнить: того, что сказал ему Куно Иванович, когда по нелепой случайности столкнулись на аллейке Рождественского бульвара. И как вел себя Глебов, услышав то, что ему сказали. Совсем другие времена, лет восемь спустя, но тоже отчего-то нервность, взвинченность, то ли накануне докторской, то ли было в пору, когда он переходил оттуда сюда, и тут эта встреча на Рождественском. Зима! Ну конечно, глубокая зима. Аллейка желтела песком, а рядом сугробы снега. Кто-то упал в снег. Глебов шел не один. В том-то и дело,

что было сказано при людях, и у Глебова помутилось сознание. Если бы не спутники, которые оттащили его, все кончилось бы совсем скверно. Потому что он не соображал, что делает. Он хотел чуть ли не задушить этого человека, повалил его наземь, стискивал горло. Всю жизнь старался об этом забыть, и почти удалось, почти забылось — он, например, уже не помнил, какие именно слова сказал тот человек — и сохранилось лишь в виде слабого сжатия посередине груди, как от давно миновавшего ужаса. Когда возникало воспоминание о том человечке, крайне редко и необъяснимо отчего, все ограничивалось ощущением сжатия посередине груди.

Еще он старался не помнить лица Юлии Михайловны, когда та прошла мимо по коридору, возвращаясь из кабинета Друзьева, девушка вела ее под руку, Глебов на секунду смешался, не зная, как поступить, кивнуть ли, что-нибудь сказать или поклониться молча, и от растерянности окаменел, и она тоже застыла лицом, проходя. Вот это застывшее лицо он сильно старался забыть, потому что память — сеть, которую не следует чересчур напрягать, чтобы удерживать тяжелые грузы. Пусть все чугунное прорывает сеть и уходит, летит.

Иначе жить в постоянном напряжении. Застывшее, бескровное лицо забывалось ненадолго, но вдруг появлялось, когда он что-нибудь узнавал: например, о ее смерти. Она умерла скоро, он еще учился в аспирантуре. Но ведь она была тяжелой сердечницей. Непонятно, зачем так билась за то, чтобы вернуться к работе. Ей нельзя было работать ни в коем случае. Ни работать, ни судиться, ни рядиться, ни мстить, ничего, кроме тихой жизни в Брускове среди клумб и грядок, но она не могла, да и Брусково исчезло. Она себя погубила. Как все это было в подробностях, он не знал, но вдруг появлялось лицо. И все остальное, что он старался забыть. Например, то, что сказал Ганчук на редколлегии, когда они встретились на одном обсуждении. Ничего оскорбительного сказано не было. Того, что имелось в виду, не понял никто. И старик был неузнаваемо плох, что-то случилось с правой

стороной лица, отчего он не очень вразумительно говорил, слушали его без достаточного внимания.

Хотя он повсюду восстановился и главный его враг Дороднов был сокрушен и сгинул в неизвестности — этой борьбой заполнились последние годы, — но что-то важное было непоправимо упущено. Слушать старика, упустившего важное, было не так уж интересно. Никто, кроме Глебова, не прислушивался к его бормотанию. Но он уловил в речи старика язвительность. Задело и удивило: оказывается, эти дряблые мускулы еще способны сжиматься! Все это следовало забыть. Так же, как и тот сентябрьский день в Риге, в кафе на открытом воздухе, недалеко от центрального универмага, когда он увидел за соседним столиком Соню. А это были уж совсем иные времена, и даже не те, что наступили потом, а совсем, совсем иные времена, и он бы мог думать, что его не узнают, и все то, что доносилось к нему из прошлого, что еще недавно томило и мучило, теперь не вызывало никаких чувств, отшелушилось, отпало.

Когда-то узнал, что Соню отвезли в больницу за городом, этого следовало ждать, все-таки у нее плохая наследственность: мать Юлии Михайловны кончила в доме для душевнобольных и сама Юлия Михайловна была, конечно, не очень здорова. И кто-то из навещавших Соню рассказывал, что ее болезнь выражалась в том, что она боялась света и все время хотела быть в темноте. Ничего другого как будто не было. Только вот этот страх перед светом и желание темноты. Потом она как будто поправилась. Он знал неточно. Не было никаких людей между ним и ею, все остались в тех временах. И вот эта встреча в Риге, он жил на взморье, приехал на один день, Марина таскала по магазинам, вдруг за соседним столиком Соня. Рядом с нею сидела странного вида, высокая носатая женщина в очках, в неряшливом туристском одеянии, в брюках и в кедах. Соня смотрела на Глебова, он оттого и повернулся, что почувствовал взгляд. И как-то сразу, непроизвольно сделал движение к ней и что-то сказал: «Соня!» или «здравствуй!» или «это ты?». Что-то обрадованное, горячее, в одну секунду его как окатило

волной. Она постарела, отяжелела, волосы были наполовину седые, но осталась способность мгновенно белеть лицом, и вот так, побелев лицом, она смотрела с испугом, потом носатая женщина взяла ее под руку, подняла из-за стола и они ушли. Запомнилось: у женщины были кеды огромного размера. Марина спросила: «Ты знаешь этих женщин? Кто они?» Он сказал, что московские знакомые, но, кто именно, он не помнит.

Все было, может, не совсем так, потому что он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало существовать. Этого не было никогда. Никогда не было второго собрания, многолюдного, в марте, когда уже не имело смысла самоугрызаться, все равно надо было прийти и если не выступить самому, то хотя бы послушать других. Кажется, он там что-то сказал. Что-то очень короткое, малосущественное. Совершенно из памяти вон: что же? Не имело значения. С Ганчуком все было решено и подписано. В областной педвуз, на укрепление периферийных кадров. Были какие-то возражения, кто-то кликушествовал, неинтересно, забыто — *не было никогда*. В самом деле, а было ли? Но вот что безусловно: кондитерская на улице Горького. Это запомнилось на всю жизнь. Это было. А все остальное, крики, волнения, пять часов говорильни с паузами для перекура, пьяная болтовня Левки, именины Ширейко — казалось, он выбивается в первые ряды, в лидеры большого калибра, но почему-то теми митингами ограничилось, дальше он не проехал, — все шумное, непонятное, вздорное, что творилось вокруг Ганчука, с топотом ног и выкручиванием рук, со слезами, инфарктами, ликованием, исчезло, как болотное наваждение. Ну, не было, не было ничего. Он брел по улице с мутной и тяжелой башкой, рядом был Левка, которого вконец развезло. Там он еще держался, а на трибуне выглядел совсем молодцом. Левка бормотал: «Скоты мы, сволочи...» Надо было тянуть его домой, он мог упасть. Вот тогда начиналась его пагуба.

Несколько лет спустя, когда его жизнь перевернулась, второй его «батя», похожий на усатого запорожца, оказался не у дел, дом рухнул, машина исчезла, мать

чудом уцепилась за что-то, оставшись в одиночестве, а Левка превратился в мелкого футбольного администратора, ездил с командой из города в город, добывал гостиницу, бутсы, мячи, «левые» игры и пьянствовал, за что вскоре был изгнан отовсюду, и потом занимался неизвестно чем, и, когда милиция подбирала его где-нибудь на улице, он иногда говорил, что его фамилия Глебов, и называл глебовский адрес. Наверно, называл и другие адреса. К Глебову его привозили раза два. Но и это было уже очень давно, лет четырнадцать назад. А потом волны сомкнулись над ним, и Глебов ничего не слышал о нем вплоть до теперешнего внезапного появления в мебельном магазине, когда уже сил нет ни на какие сантименты, ни на что, кроме сути дела.

Но тогда, после собрания, до потопа, когда петляли и кружили Москвой, ни о чем еще не догадывались: Левка не знал, что скоро он полетит, кувыркаясь, как пустые салазки с ледяной горы, а Глебов не знал, что настанет время, когда он будет стараться не помнить всего, происходившего с ним в те минуты, и, стало быть, не знал, что живет *жизнью, которой не было*. И вдруг за стеклом кондитерской на улице Горького, вблизи Пушкинской, Глебов увидел Ганчука. Тот стоял у высокого столика, за которым пьют кофе, и с жадностью ел пирожное «наполеон», держа его всеми пятью пальцами в бумажке. Мясистое, в розовых складках лицо выражало наслаждение, оно двигалось, дергалось, как хорошо натянутая маска, вибрировало всей кожей от челюсти до бровей. Была такая поглощенность сладостью крема и тонких, хрустящих перепоночек, что Ганчук не заметил ни Глебова, который замер перед стеклом и секунду остолбенело глядел на Ганчука в упор, ни качавшегося рядом с ним Шулепникова. А ведь полчаса назад этого человека убивали. Глебов потом часто рассказывал историю с кондитерской. Да, мол, было, что говорить. Много всякого. И то, и это, и пятое, и десятое, о чем лучше не вспоминать. А все-таки стоял и ел «наполеон» с громаднейшим аппетитом!

И вот еще что отпечаталось в оттенках, в подробностях, с переливами.

Тот первый после похорон бабушки приход к Ганчукам, после Ученого совета, на котором довелось не быть, но до второго, мартовского собрания. Одна из тех благоглупостей, на которые он способен. Ведь внутри себя он все уже разрешил. Благоглупость заключалась в том, что его тянуло хотя бы косвенно отдаленно, скрытно получить разрешение Сони. То есть он мечтал, чтобы она сказала: «Да, ты прав, милый, ты должен оставить меня. Так лучше для меня, для тебя, для папы, для науки, для всего и для всех». Разумеется, она этого сказать не могла. Но пусть хотя бы увидит и разделит его страдания, поймет, что выхода не было. Почему-то был убежден, что поймет. Ведь это было ее главное достоинство — все понимать.

Дверь отворила Юлия Михайловна. Глебов почувствовал, что мать Сони мгновенно и неуловимо шатнулась, увидев его, и чуть помедлила со словами: «А, здравствуйте. Проходите...» Он вошел. Все было незнаваемо. Юлия Михайловна быстрым, небрежным жестом показала на вешалку: «Можете повесить тут». Как будто он в доме первый раз. Просто сразу дали понять, что того дома больше не существует. «Соня скоро придет. Подождите, пожалуйста, в столовой». Таким же небрежным жестом было указано, где сидеть — на диванчике рядом с пианино. Он сел на диванчик. Юлия Михайловна вышла. Он сидел один и был довольно спокоен, хотя испытывал некоторый неуют и предчувствие болезненных ощущений, как в приемной зубного врача. Но прийти сюда было нужно, расстаться с больным зубом необходимо, поэтому готов был терпеть. Его озадачивало вот что: почему Юлия Михайловна так отчетливо холодна? Это непонятно. Ведь дело происходило до мартовского собрания. Не могла же она прочесть в его мыслях то, что им решено пока лишь для себя. И он намерился, как только Юлия Михайловна войдет, спросить с искренним удивлением: что случилось? Отчего она как будто сердится на него за что-то?

Юлия Михайловна не приходила. Соня не возвращалась. Он слышал, как Юлия Михайловна бежит быстрыми шажками по коридору, разговаривает с Васеной, потом стукнула дверь кабинета, послышалось гудение голоса Ганчука, Юлия Михайловна сказала громко: «Это не то, что я хочу!» — на это Ганчук ответил неразборчивой фразой, затем все смолкло. В столовую не заходил никто.

Открылась бесшумно дверь, появился черный кот Маврикий и, не взглянув на Глебова, пройдя мимо него, как мимо стула, прошествовал через столовую в Сонину комнату. Глебов сидел на диванчике уже полчаса. Начал нервничать.

Что, в самом деле, за обращение? На каком основании? Ведь нет никаких оснований. То, что он не пришел на Ученый совет, имело уважительную причину.

Более чем! Смерть близкого человека поважнее неприятностей по службе.

Постепенно все более настраиваясь против Юлии Михайловны — в ней всегда чувствовалась какая-то спесивость, эгоистичность, неприятная женщина — и заодно против Ганчука, который так ей во всем поддавался, Глебов впервые с тайным злорадством подумал, что, в общем-то, неплохо, что этих людей поприжали. Нельзя на все смотреть со своей колокольни. И не случайно у них так мало защитников. Когда Юлия Михайловна вдруг вошла, неся — не чай, не вазу с печеньем и даже не пепельницу — настольную лампу, Глебов произнес с некоторым вызовом: — Вы на меня как будто сердиты, Юлия Михайловна?

Юлия Михайловна странно хмыкнула, но не ответила сразу. Она устанавливала лампу в углу комнаты на журнальном столике. Установила, зажгла.

— Да, представьте себе, сердита.

— За что же, Юлия Михайловна?

— Этого быстро не объяснишь. У нас нет времени для разговора. Сейчас придет Сонечка. Здесь как-то темно, не правда ли? Надо зажигать свет. «Mehr Licht», — как сказал Гете перед смертью.

Она зажгла люстру и вышла. Было часа четыре дня, не так уж темно. Вдруг Юлия Михайловна вернулась, плотно заперла за собой дверь, глаза ее блестели, движения были поспешные. Она села на стул напротив диванчика и, глядя блестящими глазами прямо в глаза Глебова, заговорила тихо и быстро: — Я все-таки попробую объяснить, пока нет Сонечки. Говорю тихо, чтобы не слышал Николай Васильевич... Я не хотела такого разговора, но вы спросили. Понимаете, что я думаю о вас? Я вас ненавижу. Да, да, не делайте такие большие, удивленные глаза...

Тут она понесла несусветное. Что-то о том, как трудно понять человека, но наступает минута, почему-то она говорила «ночная минута», и человек открывается. Что-то о своей матери, которая была ясновидящей и умела предсказывать будущее. Он помнит, что вдруг испугался: а если она тоже ясновидящая и прочитала его намерения? Вот и объяснение холода. Но она, словно отвечая на его мысли, сказала, что лишена такого дара и не знает, как сложатся его отношения с Соней, не хочет вмешиваться, однако ей кажется...

Она думает с тревогой... Проклинает тот день... Что это была за галиматья, что за сплав озлобления, нелепицы и безумия! Конечно, эта женщина была больна. Соня рассказывала, что, когда у матери повышалось давление и близился приступ стенокардии, с ее психикой творилось неладное. Ему хотелось уйти, и он вскочил со словами: — Я принесу вам воды!

Но она, схватив его за руку, не пустила. Ее цепкие пальцы стискивали с неожиданной силой, он похолодел: показалось, что такая сила может быть только у сумасшедшей. Но Юлия Михайловна не была сумасшедшей, она просто неизвестно почему ненавидела Глебова и торопилась об этом сказать. Будто догадавшись

о его мыслях, она произнесла скороговоркой: — Не надо никого звать, я все успею сказать, придет Сонечка, будем пить чай. И — вы слышите? — я вам ничего не говорила...

После этого она так же спехом, вполголоса, захлебываясь словами, сообщила ему, что он умный человек, но ум его ледяной, никому не нужный, бесчеловечный, это ум для себя, ум человека прошлого, какой-то клинический бред.

— Вы сами не понимаете, насколько вы буржуазны!

Будто он использовал все: ее дом, дачу, книги, мужа, дочь. Что можно было сказать на все это? Не спорить же с несчастной женщиной. Вставая с диванчика, спросил: — Можно я принесу вам воды?

— Принесите, — согласилась она спокойно.

Он пошел на кухню, Васена дала стакан, он налил кипяченой воды, вернулся. Юлия Михайловна сидела на том же стуле и смотрела перед собой.

— Знаете, что я вам скажу? — медленно, как очнувшись, произнесла она, беря стакан. — Вот что было бы лучше всего... Этот разговор останется между нами. Лучше всего, если вы уйдете из этого дома...

Он спросил: что он сделал плохого?

— Вы ничего не сделали пока. Еще не успели. Но зачем ждать, когда сделаете? Уходите теперь... Я вас прошу, я умоляю вас... — И правда, она смотрела с мольбой. — Сонечка не узнает о нашем разговоре. Я вам клянусь!

Хотите, я вам дам деньги?

— Какие деньги? О чем вы говорите?

— Ведь вам нужны деньги. Вы их любите, правда? И у вас их нет. Сколько вам дать? — Опять начинался бред. — Говорите скорее, пока не пришла Соня. Ну, ну, говорите же. Я вам дам, и вы тут же, немедленно... Нет, постойте! Я сейчас принесу другое! — Тут она почему-то

стала шептать: — Я вам дам одно кольцо, старинное, с сапфиром. Вы же любите буржуазные вещи? Золото?

Кляйноды?

— Если вы так желаете, чтоб я ушел, — заговорил он, — пожалуйста, я не возражаю...

Она замахала руками, шепча: — Одну минуту! Я принесу! Мне совершенно не нужно, а вам пригодится!

Она метнулась к двери в соседнюю комнату, где была спальня, но, к счастью, ей помешали — вошел Ганчук. Был какой-то странный, мятый, прыгающий разговор. Почему-то о Достоевском. Ганчук говорил, что недооценивал Достоевского, что Алексей Максимыч не прав и что нужно новое понимание.

Теперь будет много свободного времени и он займется. Юлия Михайловна смотрела на мужа с печальным и страстным вниманием. Он говорил что-то в таком духе: мучившее Достоевского — *все дозволено*, если ничего нет, кроме темной комнаты с пауками — существует донине в ничтожном, житейском оформлении. Все проблемы перевернулись до жалчайшего облика, но до сих пор существуют. Нынешние Раскольниковы не убивают старух процентщиц топором, но терзаются перед той же чертой: переступить? И ведь, по существу, какая разница, топором или как-то иначе? Убивать или же тюкнуть слегка, лишь бы освободилось место? Ведь не для мировой же гармонии убивал Раскольников, а попросту для себя, чтобы старую мать спасти, сестру выручить и самому, самому, боже мой, самому как-то где-то в этой жизни...

Он размышлял вслух, не заботясь о том, слушают его, понимают ли. У него и голос переменялся. Вдруг пришла Соня. Как раз на словах Ганчука: — Вот и вы, Дима, зачем вам приходиться сюда? Это совершенно необъяснимо с точки зрения формальной логики. Но тут есть, может быть, объяснение другого толка...

— Папа! — крикнула Соня, бросившись к Глебову. — Не мучай Диму! Его и так намучили!

И она встала перед Глебовым, загородив его, будто Ганчук мог в Глебова чем-то кинуть. Но Ганчук ее не слышал, не видел.

— Тут есть, может быть, — говорил он, — объяснение метафизическое.

Помните, как Раскольникова все тянуло к тому дому... Но нет! Не то! — Он четким, профессорским жестом отсек собственное предположение, — Там все было гораздо ясней и проще, ибо был открытый социальный конфликт. А нынче человек не понимает до конца, что он творит... Поэтому спор с самим собой... Он сам себя убеждает... Конфликт уходит в глубь человека — вот что происходит...

— Папа, дорогой, — сказала Соня, — я тебя умоляю!

— Ну, хорошо, дочка, пожалуйста. Извини меня. — Ганчук впервые посмотрел на Глебова внимательно, узнающе. — К тому же я вовсе на него не в обиде.

Нисколько, абсолютно не в обиде.

Он вышел, но через короткое время, когда Глебов прошел вслед за Соней в ее комнату, разлегся, как обычно в минуты усталости, на тахте, покрытой ковром, а она села рядом и гладила его волосы, потому что очень его жалела, знала, как он любил бабу Нилу, Ганчук вдруг опять появился и спросил прежним, знакомым голосом: — А знаете, в чем ошибка? В том, что в двадцать седьмом году мы Дороднова пожалели. Надо было добить.

Эти слова успокоили Глебова: он понял, что старик остался тем же, чем был. Значит, все, что делалось, было правильно. Глебов ночевал у Сони. Спать они не могли. Заснули перед рассветом. Глебову привиделся сон: в круглой жестяной коробке из-под монпансье лежат кресты, ордена, медали, значки и он их перебирает, стараясь не греметь, чтобы не разбудить кого-то. Этот сон с крестами и медалями в жестяной коробке потом повторялся в его жизни. Утром, завтракая на кухне и глядя на серую бетонную излучку моста, на человечков, автомобильчики, на серо-желтый, с шапкою снега дворец

на противоположной стороне реки, он сказал, что позвонит после-занятия и придет вечером. Он больше не пришел в тот дом никогда.

Вот что вспомнилось Глебову, кое-что благодаря усилиям памяти, а кое-что помимо воли, само собой, ночью после того дня, когда он встретил Левку Шулепникова в мебельном магазине. Одно казалось странным, и он так и заснул в своем кабинете на втором этаже, с окном в сад, не разгадав загадки: отчего Левка не захотел узнавать его?

В апреле 1974 года Глебов ехал поездом в Париж на конгресс МАЛЭ (Международной ассоциации литературоведов и эссеистов, где он был членом правления секции эссеистики) и встретил в вагоне Левкину мать Алину Федоровну. Она ехала в тот же город по приглашению сестры, покинувшей Россию пятьдесят три года назад. Алина Федоровна превратилась в седую сутулую старуху, но Глебов узнал ее сразу: то же смугло-фаянсовое горбоносое лицо, острый, посверкивающий взгляд и та же, знакомая с детства папироска в зубах.

Часами стояла в коридоре у окна и курила. Глебов подошел, напомнил о себе, но разговор не вялся. Вдруг, как когда-то давно, он почувствовал стену высокомерия, окружавшую эту женщину. Господи, да с чего бы? Все разрушено, жизнь исчезла, сын погиб, и о нем не хочется говорить, и, однако, старая дама сощуривалась, будто смотрела на Глебова в лорнет, и спрашивала величественно-равнодушно: «Ах так? Эссеистики? Это что же, интересно?» После Варшавы она немного разговорилась, и он узнал, что она получает пенсию за первого мужа, Прохорова-Плунге, старого коммуниста, реабилитированного посмертно, что у нее хорошая однокомнатная квартира на проспекте Мира, недалеко от метро, где она жила одна, не желая никого видеть: ни милого сына, ни бывшей невестки, восемь лет назад бросившей сына, потому что выдержать его не может ни один человек, ни внука, семнадцатилетнего лоботряса, вспоминающего о ней, лишь когда она собирается к родственникам в Париж. Тогда притаскивается как бы

навестить и проведать, лучший внук на земле, и между прочим подсовывает заказик, напечатанный на машинке: джинсы, ремень, зажигалка, голубая рубашка в талию, навывпуск, с накладными карманами, все очень дельно и продуманно. Всю жизнь она жила для других, теперь хочется пожить для себя. После Берлина она сделалась еще разговорчивей и откровенней. «Говорят, будто русское дворянство выродилось, я и в Париже это слышала, а я вам скажу обратное: наша кровь самая прочная, потому что мы вынесли все». На перроне в Париже Глебов увидел горбоносую старуху, чем-то похожую на Алину Федоровну, но более чахлую, суетливую, одетую вовсе не по-парижски, в балахонистом старомодном плаще, рядом с нею были молодой человек и девушка, они зашебетали вокруг Алины Федоровны, та отвечала то по-русски, то по-французски, все двинулись с толпой по перрону, а Глебов постоял минуту-другую, ожидая, что Алина Федоровна оглянется и попрощается с ним. Но Алина Федоровна не оглянулась. Зато раздался вкрадчивый голос на ломаном русском языке: «Рад приветствовать вас, господин Глебофф, в городе Париже! Позвольте ваши вализы. Это все?» Молодой, коричневорумяный, сочногубый господин с усиками по фамилии, кажется, Секюло, которого Глебов помнил по конгрессам в Осло и в Загребе, подхватил единственный чемодан Глебова и, улыбаясь, кивая головой в туго натянутой на затылок белой клетчатой кепке, левой рукой показал куда-то вдаль и тоже устремился в толпу.

Знакомый воздух парижского вокзала, в котором было слито много всего, и это создавало впечатление какой-то горьковатой и душной сладости, охватил Глебова, как зной. Через сорок минут он уже ходил быстрыми шагами по темной гостиничной комнате, выходявшей окнами на узкую улицу недалеко от Pigalle, и, мурлыча что-то, разгружал чемодан, хлопал дверьми шкафов, чуть ли не бегом спешил в ванную комнату, раскладывал под зеркалом туалетные принадлежности...

Работая над книгой о двадцатых годах, я натолкнулся на фамилию Ганчука Н. В., который играл заметную роль в тогдашних дискуссиях, в особенности в спорах вокруг журнала «В литературном дозоре», гремевших в двадцать пятом и двадцать шестом. Кто-то сказал, что Ганчук еще жив. Я разыскал его с немалым трудом. Он жил одиноко в тесной однокомнатной квартирке, загроможденной книгами — стеллажи были даже на кухне, — в блочной новостройке возле Речного вокзала. Старую квартиру, где я когда-то бывал — о чем он, разумеется, забыл, да и я помнил слабо, — он отдал добровольно, потому что жить там одному после смерти Сони стало невозможно. А здесь, говорил он, превосходный микроклимат, пахнет бором, можно ходить на лыжах. Ему было восемьдесят шесть. Он ссохся, согнулся, голова ушла в плечи, но на скулах еще теплится не избытый до конца ганчуковский румянец. И, когда он с усилием протягивал локтем вперед скрюченную правую руку и цепкими пальцами захватывал вашу кисть, ощущался намек на прежнюю мощь. «Аз есмь!» — говорило рукопожатие, хотя глаза слезились, а язык ворочался через силу. В углу прихожей стояли лыжи. Востроносенькая старуха в седых аккуратных куделечках приходила помогать по хозяйству. Однажды я слышал, как она тихонько напевала на кухне.

Несколько раз я приезжал к Ганчуку с магнитофоном, стараясь выведать у него подробности, относящиеся к шуму и гаму двадцатых годов — ведь свидетелей тех полуполюгендарных лет почти не осталось, — но, к сожалению, выведал немного. И дело не в том, что память старца ослабла. Он не хотел вспоминать. Ему было неинтересно. Мне все происходившее тогда было гораздо интереснее, чем ему, и как-то он спросил с удивлением и даже с досадой: «Господи, твоя воля, неужто и эта моя статья не прошла мимо вас? И охота возиться со всей этой жеребятиной...» Зато с удовольствием разговаривал о какой-нибудь многосерийной муре, передававшейся по телевизору, или о новости, вычитанной из «Науки и жизни». Он выписывал восемнадцать газет и журналов.

В годовщину Сониной смерти, в октябре, мы поехали на кладбище. Соня была похоронена на территории старого крематория, вблизи Донского монастыря.

Крематорий уже полтора года был закрыт. Москва сжигала где-то в другом месте, за городом. Говорили, что далеко, неудобно, неуютно. То-то был уют здесь, у Донского! На кладбище пускали до семи вечера, а мы приехали без десяти семь. Такси остановили на площадке перед воротами. Тьма была на земле, угольно-темными стояли деревья, угольно темнела стена, но небо еще пылало сумеречно и жило — с криком летали вороны. Привратник громыхал железом, собираясь запирать ворота, и в эту минуту мы подошли. Я вел старика под руку. Привратник не хотел нас пускать. Начался спор в темноте. Мы угрожали, упрасивали, пытались дать ему денег, но привратник отвечал все более грубо и неуступчиво. Ганчук упирал на то, что он персональный пенсионер, что ему восемьдесят шесть и он может умереть каждый миг, а привратник хриплым, злобным голосом орал, что он тоже человек и хочет приходить домой вовремя.

— Но вы не имеете права без десяти минут...

— А продуктовые без пятнадцати закрывают!

— Да как вы сравниваете? У вас есть совесть?

— А вы не учите! Можно сравнивать. Подумаешь, сравнивать нельзя.

— Дайте вашу фамилию! — кричал слабым голосом Ганчук. — Немедленно назовите. Я буду писать.

— Прохоров! — рявкнул привратник. — Лев, к примеру, Михайлович! Ну и что?

Куда писать будете? На тот свет?

— Шулепа... — сказал я тихо. — Пусти нас.

Человек, неразличимый во мраке, замолчал и откачнулся от проема ворот.

Мы прошли. В тишине, нарушаемой криком ворон, скрипели мои каблуки и шуршали подметки Ганчука, которыми он вез по асфальту. Двигались мы очень медленно.

Вот так же, наверно, он ходил на лыжах. Когда удалились от ворот шагов на двадцать, я сказал Ганчуку: — По-моему, это парень из нашего класса. Ну да шут с ним.

Обогнули черный, недышащий крематорий и стали искать могилу, что оказалось в потемках делом небыстрым. Старик наклонялся и ощупывал камни.

Наконец произнес, тяжело дыша: — Это здесь...

Он присел на корточки и долго делал что-то, сидя так: что-то стряхивал, перебирал, шелестел сухой листвой.

Я думал о том, что нет ничего страшнее мертвой смерти. Погасший крематорий — это мертвая смерть. И Левка Шулепа в воротах кладбища... Вдруг я понял старика, который не хотел вспоминать. Оглушающе орали вороны, кружась и кружась над нашими головами, очень рассерженные чем-то. Было похоже, что мы вступили в их владения. Или, может быть, начинался их час, когда мы не смели тут появляться. На деревьях вокруг было множество темных и жирных гнезд.

Старик шептал, разговаривая сам с собой: — Какой нелепый, неосмысленный мир! Соня лежит в земле, ее одноклассник не пускает нас сюда, а мне восемьдесят шесть... А? Зачем? Кто объяснит? — Он стискивал мою руку цепкой клешней. — И как не хочется этот мир покидать...

Когда через полчаса мы выбрались со двора к выходу, ворота были раскрыты, а привратник исчез. Такси ждало нас. Ехали молча, и только когда спустились к площади, повернули туннелем на Садовую, Ганчук придвинулся к шоферу и чуть слышно попросил ехать скорей: хотел успеть на какую-то передачу по телевизору. Слепили огни, разгорался вечер, нескончаемо тянулся город, который я так любил, так помнил, так знал, так старался понять...

А вскоре и привратник в изношенном кожаном реглане на цигейке, в каких ходили летчики в конце сороковых годов, вышел на аллею, ведущую вдоль монастырской стены, повернул налево и оказался на широкой улице, где сел в троллейбус. Спустя несколько минут он проезжал мостом через реку, смотрел на приземистый, бесформенно длинный дом на набережной, горящий тысячью окон, находил по привычке окно старой квартиры, где промелькнула счастливейшая пора, и грезил: а вдруг чудо, еще одна перемена в его жизни?..

1976